М.Подгородников

НАМ ВОЛЬНОСТЬ ПЕРВЫЙ ПРОРИЦАЛ

РАДИЩЕВ

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

Книга о трагической судьбе первого русского революционера, писателя-патриота, призывавшего к полному уничтожению самодержавия и крепостного права.

Рассчитана на школьников среднего возраста.

-
-
- ГРОМОВЫЕ ДЕТИ
- КЛЕТКА ДЛЯ ГОСПОДИНА СТУДЕНТА
- ДЕРЗОСТНЫЙ ДОКЛАД
- ТЕРНОВОЕ КОЛЬЦО
- ТРОЕ
- ВОЗОК С УСИЛЕННОЙ ОХРАНОЙ
- СМЕРТЬ КАТОНА
- ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ
- notes
  - 1
  - 2
  - 3
  - 4

О тех, кто первым ступил на неизведанные земли,
О мужественных людях — революционерах,
Кто в мир пришел, чтоб сделать его лучше.
О тех, кто проторил пути в науке и искусстве,
Кто с детства был настойчивым в стремленьях

И беззаветно к цели шел своей.

…Катон сказал сыну: «Обстоятельства больше не позволяют заниматься государственными делами так, как это достойно Катона».

Катон удалился к себе и стал читать «О душе» Платона. Потом ему принесли меч. «Иного выхода я не вижу. Как еще сопротивляться Цезарю?» — сказал он в задумчивости, пробуя,

отточено ли лезвие, и снова стал читать книгу.

Он заснул так крепко, что его храп был слышен даже за дверьми спальни.

После пробуждения Катон подошел к окну. Взял в руки меч. Его лицо было спокойным…

Он с силой вонзил меч в живот и упал…

…Радищев умирал, приняв яд. Попытки спасти его были безуспешны. Лейб-медик Виллие склонялся над ним, пытаясь разобрать слова. Он шептал женские имена. Виллие спросил о завещании, но Радищев равнодушно покачал головой.

Возле кровати лежала книга с описанием смерти римского сенатора Катона, бросившего вызов тирану Цезарю…

ГРОМОВЫЕ ДЕТИ

По утрам в старом дворце пахло пирожными. Злая дробь барабана, бившего зорю и подымавшего пажей с нагретых постелей, сопровождалась тонкими сладкими запахами. Пажи торопливо хватались за одежду, тыкались сонно в рубашки, теряли рукава, путали чулки, слепо шарили вокруг в поисках туфель — бог сна Морфей долго не выпускал мальчиков из своих объятий, тот самый коварный бог, который, как язвительно говорил информатор [1] Морамберт, «являлся главным покровителем пажей».

Только через несколько минут, перед построением, мир обретал свою определенность, и они явственно ощущали волшебные запахи.

— Ореховые! — устанавливал вдумчивый Сергей Янов.

Пажи застывали в догадках.

— Бисквиты! Шпанский ветер! Трубочки! Оленьи рога!

Начинались споры, составлялись пари. Повелительный голос Морамберта пресекал пустые прения. Сухое лицо француза морщилось от желания удержать улыбку, он мановением пальца подзывал того, кто шумел больше всех, и вручал молитвенник.

Перед строем тягуче раздавался голос медлительного Янова: «Услышь, господи, слова мои, уразумей помышления мои. Внемли гласу вопля моего, царь мой и бог мой! ибо я к тебе молюсь…»

«Ибо я к тебе молюсь», — эхом вторило отделение, построенное и вытянутое по ниточке.

«Ты бог, не любящий беззакония, у тебя не водворится злой. Ты ненавидишь всех, делающих беззаконие. Ты погубишь всех, говорящих ложь…»

«Ты погубишь всех, говорящих ложь», — поддержала красно-зеленая шеренга: камзолы — красные, штаны — зеленые.

Янов читал старательно, но вдруг споткнулся: он понял, что прав и что внизу, в кондитерской комнате, пекут ореховое пирожное. Гневно покашлял Морамберт, Янов испуганно оглянулся, опять споткнулся на слове, но выправился и благополучно довел молитву до конца. «Аминь!» — прошелестело в зале…

Морамберт шел вдоль строя, с брезгливой гримасой оглядывал пажей. Перед Радищевым он остановился и с ужасом вздернул брови. Возникла пауза, томительная, страшная, потому что вслед за ней могло случиться любое: и насмешка, и распоряжение о наказании. Морамберт склонился в печали,

потом возвел очи к потолку.

— Александр!

— Я слушаю вас, сударь.

— Здоровы ли вы, Александр? — несчастным голосом продолжал Морамберт.

— Вполне, сударь.

— Тогда что это? — Палец Морамберта упал с высоты и вперился в живот Радищеву. Кусочек позумента свисал с отпоротой петли камзола — следствие вчерашней дружеской потасовки с Челищевым. Радищев опустил голову.

— Если бы это видел барон Шуди! Боже мой! — страдальчески вздохнул Морамберт. Имя барона Шуди информатор вспоминал всякий раз, когда паж совершал проступок. Основоположник новых порядков в Пажеском дворе, барон Шуди отбыл во Францию, но записанные им в мемориале правила из двенадцати пунктов неукоснительно исполнялись, и каждый паж должен был помнить их, как молитву.

«Содержать себя в лучшем порядке, в чистоте и исправности платья, белья и убранства волос», — было начертано в мемориале, и этот пункт нарушался весьма часто, отчего информатору Морамберту приходилось вспоминать святое имя барона Шуди.

Но Морамберт помнил еще один пункт: «Обращаться с пажами скромно и неогорчительно». Поэтому он преодолел свою печаль и продолжал допрос спокойнее:

— Вы сегодня назначены в дежурство к высочайшему столу. В порядке ли ваша парадная ливрея?

— В порядке, сударь.

— Вы не ошибаетесь, Александр?

— Не ошибаюсь, сударь.

Морамберт помолчал. Потом, отступя на шаг, сделал строгое, торжественное лицо, с каким сообщал важные известия:

— Господа! В следующую неделю кондитерская комната в этом доме упраздняется. Гофмейстер Ротштейн огорчен вашим поведением. Вчера были украдены десять пирожных. Злоумышленники до сих пор не признались. Сей возмутительный и безнравственный поступок ваш вызвал у господина гофмейстера сильную болезнь и упадок духа. Стыдно, господа!

Морамберт отвернулся, махнул рукой. Раздалась команда, посрамленные пажи двинулись к завтраку.

Во дворце со вчерашнего вечера было тревожно. Закапризничала итальянская певица Габриэлли и не захотела петь в апартаментах императрицы, потому-де, что «та все равно

ничего в музыке не смыслит». Императрица велела передать певице свое неудовольствие и напомнить, что ей положен оклад выше оклада фельдмаршала. «Пусть тогда она заставит петь своих фельдмаршалов», — нагло фыркнула Габриэлли. Императрица помрачнела и долго не выходила из своего отделанного серебром кабинета.

Но утром в кабинет просунул голову шут Нарышкин, прокричал, что «матушка сегодня ему снилась, играла по сне в прятки и вела себя совсем нескромно». Екатерина засмеялась, запустила в обер-шталмейстера туфлей и вышла из кабинета повеселевшая. Тучи как будто рассеялись.

Прогулка по саду удалась. Фрейлина, идущая рядом, захлебывалась от новостей. Это были замечательные вести и совершенно верные, совершенно точные, потому что их сообщил граф Александр Романович Воронцов, который знал в коммерции толк. Из Франции шел корабль, битком набитый чужестранными галантерейными чудесами — тканями, пудрой, духами. А главное — везли красный бархат, о котором давно мечтали в Петербурге, и китайские шелка.

Екатерина холодно глянула на щебетавшую фрейлину. «Боже мой, какой вздор вас интересует… Я жду с этим кораблем письма от господина Вольтера. Да пусть потонет ваш красный бархат, лишь бы письма доплыли…» Фрейлина кисло улыбнулась. «Ты ее, матушка, крапивкой, крапивкой! Ишь, размечталась о бархате», — ехидно пискнул Нарышкин. «Это тебе, Лев Александрович, коли будешь вмешиваться в чужие разговоры, крапивой достанется», — тихо пообещала императрица. Нарышкин осекся и стал отставать…

Около выхода из парка кортеж императрицы поджидал гофмейстер Франц Ротштейн. При виде государыни и блестящей свиты он почувствовал, как его оставляют болезни, вызванные дурным поведением пажей, дух обретает бодрость и ясность, а глаза излучают любовь: он проверял это ощущение перед зеркалом — после встреч с необыкновенной государыней глаза сияли отменно. «Ну, Фраиц, как твои громовые дети?» — ласково спросила Екатерина. «Каждый ребенок весел и здоров», — старательно выговорил Ротштейн, с трудом владевший русским языком. «Кто же сегодня нас порадует присутствием?» — допытывалась государыня. «Очень хороший дети: Радищев, Янов, Кутузов, Рубановский… Дети ласковый, примерный». — «Они у тебя все примерные. Вот только кого ты наказываешь?» — Она одаряла улыбкой и ответа не требовала.

Радищев любил уроки геральдики.

Гербы были загадочны. В причудливых складках намета — словно лоскутьями изодранного рыцарского плаща, обрамлявшего сам герб, на открытом поле щита, в мрачноватом железном шлеме, в странной неожиданной россыпи знаков — звезд, полумесяцев, крестов, изломанных линий, в позе львов и орлов таились отгадки доблести, чести, мужества. Дух рыцарства изливался с гербов, туманил голову, скрещенные на щитах шпаги неслышно звенели, рог, страстно задранный вверх, беззвучно призывал к бою…

Гарцующей походкой вошел Морамберт. Он никогда не начинал урока сразу, а медлил перед приходом минуты, полной значительности.

— Итак, почему на гербах королей Арагонии золотой щит имеет четыре красные линии?

Пажи наклонили головы под пронзительным взглядом Морамберта: он был страшен в геральдической ярости. Морамберт дремал на уроках хорошего писания, лениво вел французский язык, на географии он терял отдаленные страны и суетливо, беспомощно искал их на карте, но в часы воненкунста львиная энергия просыпалась в сухопаром французе.

Он подождал, кивком головы подтвердил невежественность пажей и с силой обрушил на них звенящие, как рыцарские латы, слова:

— В битве с норманнами принц Готфрид Арагонский был низвергнут с коня. Он лежал на поле, истекая кровью, когда король смочил четыре пальца в крови принца и провел ими по щиту. С тех пор короли Арагонии, а также графы Барселоны и Прованса на золотых щитах герба имеют четыре алые линии.

Радищев затаил дыхание: перед его взором мощно неслась лавина всадников и в золотой, колосе их строя вспыхивали и загорались красные следы благородной крови арагонских королей.

Морамберт, довольный тем, что поразил воображение учеников, перешел к сухой теории:

— Прошу назвать основные геральдические фигуры, Янов.

Янов перечислял, тайком поджимая пальцы на руке:

— Глава, столб, перевязь, стропило, крест…

— Бьен! Хорошо! — Морамберт взмахнул рукой, останавливая перечисление. — Назови виды крестов, употребляемых на гербах.

Янов загундосил, как дьячок:

— Головчатый, уширенный, заостренный, якоревидный, трилистный…

— Рубановский, о чем ты думаешь? Продолжай.

Рубановский снисходительно поднялся и нехотя стал перечислять, как будто это ему смертельно надоело:

— Шаровидный, змейный, георгиевский, прусский, мальтийский, французский.

Морамберт покойно прикрыл глаза, будто слушал дивную музыку. Рубановский перевел дыхание и с невинным видом продолжал:

— Чухонский, рязанский, парикмахерский…

Морамберт очнулся:

— Что?

— Извините, сударь, я оговорился.

— Ах, ты оговорился! — Морамберт приблизился к Рубановскому. Казалось, мгновение — и Рубановский будет испепелен. Но Морамберт сдержался и, опалив шутника взглядом, отошел к кафедре.

— Это недостойно! — шепнул Радищев Рубановскому.

— Молчи, выскочка! — быстро отозвался Рубановский. — Или я проткну тебя шпагой.

Морамберт оперся о край кафедры и сморщился в раздумье.

— Скажи, Рубановский, что такое негеральдические фигуры?

— Птицы всякие… Ангелы…

— Птицы… Может быть, — раздумывал Морамберт. — А если я изображу человека с копьем в одной руке и малым его же изображением в другой. Что сие означает?

— Остроумие.

— Нет, Рубановский, это означает благородство. Но ты не знаком с этой темой. Поди к сторожу Василию и скажи, чтобы он дал тебе пять розог.

Рубановский выбежал из комнаты. У дверей он мрачно оглянулся на Радищева.

Морамберт тихо произнес:

— Перейдем к начертанию девизов. Вам известно, что многие гербы украшаются письменным девизом. У графа Воронцова: Семпер иммота фидес — Верность всегда неколебимая.

Пажи склонились над тетрадями.

— Когда поединок? — с довольной улыбкой спросил Рубановский. Он обожал дуэльную процедуру.

— Тебя выставили, а значит, уже наказали, — хладнокровно ответил Радищев.

— Нет, ты не уйдешь от возмездия! Раскаешься, что подсвистывал парикмахеру. Плебей, сбежавший из Франции, слуга, которого аристократы не пускали дальше передней,

пытается нас учить родовой чести.

— Морамберт — достойный человек. А ты шутил как истинный плебей.

— Защитник плебеев. Когда поединок?

— Изволь, в одиннадцать. На манеже, — вспыхнул Радищев.

Сторож Василий звонил в колокол, перемена кончалась, начинался урок истории, Морамберт шел в классы, держа в руках тяжелый том Корнелия Тацита.

— Итак, час назад вы убедились, какой достославной может быть история дворянского рода, как важно понимать смысл родовых гербов, — сказал Морамберт. — Если некоторые из вас не имеют фамильного герба, то это не означает, что вас миновала доблесть. Грядущее открывает дорогу славы, и каждый из вас может ступить на эту дорогу. И тогда ваша судьба украсится и обретет символ, воплощенный в гербе.

Морамберт широким жестом очертил класс, словно это был целый мир, и пажи повели глазами за его рукой, чтобы увидеть сияющие впереди гербы, но не увидели. А за окном узрели свиту государыни, медленно текущую с прогулки.

— Обратимся к далекому прошлому, — продолжал Морамберт. — Вчера Корнелий Тацит рассказывал нам о философе Сенеке, которым был недоволен всемогущий римский император Нерон. Кутузов, ответь, чем прогневил Нерона Сенека?

Радищев прикрыл глаза.

…Сенека медленно поднимался по широким мраморным ступеням. Придворные провожали его взглядами, исполненными ненависти. Они были уверены, что это последний путь наставника императора.

Нерон напряженно всматривался в своего учителя.

Сенека склонился перед цезарем: «Я проповедовал довольствоваться малым. Ты одарил меня безмерно. Возьми мое имущество и отпусти. Я буду заниматься земледелием, я буду хозяйствовать в своем имении».

Нерон отвечал: «Ты полон сил. Мы еще в самом начале нашего царствования. Не могу отпустить тебя. Не могу взять твоих богатств. Все обвинят меня в безмерной жадности…»

— Александр, проснись, в каких краях ты странствуешь? Кутузов плохо приготовлен. — Морамберт, как дирижер, властным движением руки усаживает Кутузова и поднимает Радищева.

Радищев отвечает, Морамберт удовлетворен. Затем поднимается Янов и путано начинает рассказывать о последних днях Сенеки.

— Разве Нерон не любил Сенеку? — Морамберт строго

смотрит на Янова, так толком и не разобравшегося в любви и ненависти римского императора.

…Да, Нерон любил философа. Но с тем большей сладостью он послал его на смерть, как только заподозрил, что Сенека причастен к заговору против него.

Центурион объявил Сенеке приговор и не уловил страха на лице философа. Сенека приказывает принести его завещание, но центурион препятствует этому. Тогда, обратившись к друзьям, Сенека восклицает: «Раз меня лишили возможности отблагодарить вас, то я завещаю вам свою единственную драгоценность — образ жизни, которого я держался». Сенека завещает им стойкость в бедствиях, равнодушие к богатству, умение довольствоваться малым и искусство избавляться от зависти и страха смерти…

…Голос Морамберта звучит где-то далеко. Янов, облитый презрением учителя, опускается на место. Пажи скучают, перешептываются… Янов толкает локтем Радищева. Тот вздрагивает и с неудовольствием возвращается из Древнего Рима в Санкт-Петербург.

— Что?

— Небось ты тоже ел ворованные пирожные?

— Отведал.

— Значит, ты тоже должен сознаться?

— Изволь, я сознаюсь.

— Вот и славно. — Янов вздыхает с облегчением. — Втроем веселее.

Морамберт медленно открывает тяжелый том Корнелия Тацита и торжественно читает:

— «Всеми государствами и народами правят или народ, или знатнейшие, или самодержавные властители; наилучший способ правления, который сочетал бы и то, и другое, и третье, легче превозносить на словах, чем осуществить на деле, а если он и встречается, то не может быть долговечным…»

Морамберт поднял наставительно палец:

— Пусть мудрость древнейших ораторов осеняет вас.

— Я уложу тебя с первого укола, — говорил Рубановский и нетерпеливо гнул, мял шпагу.

— Мавры разбегались от одного только вида принца Арагонского, — загадочно ответил Радищев. Он надевал на голову железный рыцарский шлем.

— Но один мавр остался на поле битвы, и принц увидел свою смерть в его глазах. — Рубановский надвинул маску на лицо. Из отверстий маски смотрели глаза, в которых должны были

отразиться ужас и смерть противника.

— Меньше слов, — сказал Радищев и сделал легкий выпад. Рубановский отскочил. Грозный рыцарь, гремя шлемом, наступал на него.

— Оп! — крикнул Рубановский, провел дегаж, стремясь избежать соприкосновения шпагами, но Радищев сделал купе, отсек укол. Рубановский снова атаковал, но Радищев увернулся.

— Колю кварт! — в ярости закричал Рубановский. Он махнул шпагой, и вместо изящного кварта звонкий оглушающий удар, как палицей, пришелся прямо по железному шлему. Рыцарские доспехи свалились с плеч принца Арагонского, раскрасневшееся потное лицо беззащитно замерло перед устремленным на него стальным жалом. Удивленно смотрели ясные карие глаза под широким разлетом четко очерченных бровей.

— Что ж, это тебя не спасет, — холодно сказал Рубановский, — надевай шлем!

С другого конца манежа к ним уже спешил гофмейстер Ротштейн.

— Так нельзя, господа! Займите позиции! Рубановский, я дам вам абшит, я дам отставку!

Ротштейн был толст, но ловок и очень любил, чтобы все было по правилам.

— Рубановский, стань ан-гард! Каблуки прямые! Ты колешь кварт… ты паришь кварт… Ты колешь терс… Айн! Цвай! Радищев, ты рассеян. Забыл про батман! Гут! Фехтование — это большой наука! Шпагу держать мягко! Делай цвай! Гут!

Через минуту Ротштейн уже отбежал к другим фехтовальщикам, и Радищев остановился и бросил шпагу.

— По команде скучно. Я дарю тебе жизнь.

— Я тебе тоже.

Они пожали друг другу руки.

— Но Морамберт все-таки был парикмахером, — заметил Рубановский.

— Может быть, но он достойный человек.

— Вероятно. Он сказал сторожу Василию, что розги отменяются. Барон Шуди не рекомендовал розги. Почему?

— Наверно, он хотел, чтобы мы были добрыми.

— Но розги — полезное упражнение, — нерешительно сказал Рубановский.

После верховой езды их повели в гардеробную, где каждый паж был обряжен в зеленый бархатный мундир с золотым шитьем. Гофмейстер трепетно наблюдал за приготовлениями, как будто для него, для всех наступал последний час жизни. И так было всякий раз, когда пажи уходили к высочайшему столу на

дежурство.

Гофмейстер бродил среди мальчиков, искал вероломные складки на костюмах, отпоротые позументы, лопнувшие швы. Но все было отглажено, подшито, все блестело, сияло, хотя в этих камзолах проходило не одно поколение пажей. «Гут», — бормотал Ротштейн и проводил рукой по бархату, как будто гладил своих хороших примерных детей, притрагивался к прическам, с тревогой оглядывался на парикмахера: «Так ли сделано?» Но парикмахер успокоительно кивал. Морамберт безучастно стоял в стороне, ведь не он был цирюльником.

…Длинный стол цвел фарфором и серебром. От суповниц поднимался легкий пар. С широких блюд удивленно и покорно смотрели рыбьи глаза. В графинах изумрудно вспыхивали солнечные искры. Стулья застыли у стола в строгом строю. За стульями — пажи в ожидании.

Радищев, волнуясь, все время смотрит на дверь. Янов держится за стул и подремывает. Рубановский стоит с видом бывалого, искушенного в придворных тонкостях человека. Кутузов смирен, покорен, внимателен.

Входит государыня. Она неожиданно садится с краю стола, как самая скромная, самая незаметная фрейлина. Рубановский протягивает ей золотую тарелку, куда Екатерина бросает перчатки.

На стул, предназначенный государыне, уверенно усаживается Нарышкин и, развалясь, нетерпеливо оглядывает стол. Фрейлины разлетаются по местам. Напротив императрицы садится ее любимец Григорий Орлов. Рядом его брат — Владимир Григорьевич Орлов, недавно вернувшийся из-за границы после учения. Стулья перепутаны, и обер-гофмаршал приходит в ужас: что предпринять, чтобы восстановить порядок. Но императрица делает успокоительный жест: пусть гости чувствуют себя вольно, пусть Нарышкину прислуживает ее камер-паж.

Нарышкин осведомляется, во сколько блюд десерт. Ответ получен: в двенадцати блюдах. Екатерина усмехается:

— Тебе все мало, Лев Александрович.

— Матушка, жизнь одна, так пусть сладенького будет поболе.

— Ну, пусть у тебя будет много радостей, а мы порадуемся беседе, — говорит Екатерина и обращается к Владимиру Григорьевичу: — Что слышно о господине Вольтере?

— Имел счастье повидать один раз. Вольтер — затворник, мало появляется в свете.

— А Александр Романович Воронцов сумел повидаться с ним не однажды.

— О Воронцовых знает вся Европа. Оттого и Вольтер ласков с

Александром Романовичем.

— Вольтер присоветовал ему учиться в Страсбурхском университете, где славно учат и натуральным правам, и истории — древней и нонешней.

— Полагаю, что в Лейпциге не худой университет и профессора там весьма разумны.

— Но тамошние студенты, сказывают, весьма разгульны.

— Русские усердны. Воронцов, к примеру, в Париже сторонился веселиев и был предан науке.

— Такого, как Воронцов, еще поискать. На него можно положиться… О чем же вам говорил господин Вольтер при встрече? — продолжала допрашивать Екатерина.

— Удивительные истории рассказывал. А одна из них до сих пор не разгадана. На острове Святой Маргариты содержался неизвестный арестант, на лицо которого была надета железная маска. Караульным наказали убить его, если он снимет маску. В 1690 году его перевезли в Бастилию, отвели лучшие комнаты, дали прекрасную пищу. Он носил тонкое белье, играл на гитаре, но никогда не снимал маску. Сей таинственный арестант умер в 1703 году и погребен ночью в церкви святого Павла. Вольтер полагает, что это был сын королевы Анны и брат Людовика XIV. Его скрыл от мира кардинал Ришелье, чтобы тот не вздумал спорить о французской короне.

Мертвая тишина воцарилась за столом. Григорий Орлов бешено глядел на своего образованного и тупого брата.

Радищев замер. Только сейчас улеглись слухи о таинственной гибели в Шлиссельбурге императора Иоанна Антоновича, которого давно заточили в крепость, ибо он был претендентом на престол. Но он убит, и Владимир Орлов рассказывает похожую историю, ничего не подозревая о своей бестактности. Вот что значит много странствовать, тогда перестаешь понимать свою родину… Владимир Григорьевич, почуяв неладное, съежился под взглядом Григория.

Но Екатерина была ясна и покойна, ни одним движением не выдала волнения.

— История интересная. Но похоже на сказку.

— Сказка, матушка, чистая выдумка! — закричал Нарышкин, вылавливая рыбу с блюда.

— Нет, отчего же, — пробормотал Орлов и смолк.

Екатерина с улыбкой спрашивала опять:

— А как одевается Европа? Что носят в Париже и Вене?

— Увы, матушка, модами не интересовался, — потухшим голосом отвечал неловкий путешественник.

— Ну и похвально. — Она поднесла ложку к губам и задумалась.

За столом почтительно молчали.

— Ах, что мы о суетном, — спохватилась императрица. — Есть темы достойнее: о господине Вольтере мы говорили. И тарелки пустые, это не годится.

Она повела рукой: жарко. Радищев рванулся с серебряной тарелкой, на которой лежал веер. Рубановский, не поняв жеста государыни, протянул золотую тарелку с платком. Движение пажей было роковым: тарелки столкнулись с веселым фехтовальным звоном.

— О боже, что это? — Гримаса страдания исказила лицо государыни. — Ах, эти громовые дети. Франц, они меня уморят!

Она встала из-за стола и пошла к двери. Бледный гофмейстер Ротштейн летел к своим оконфузившимся детям принять срочные меры — необходимые, неотложные меры к тому, чтобы тарелки никогда, никогда не сталкивались.

И меры были приняты, Радищева и Рубановского временно сослали в боковую комнату, чтобы дождаться окончательного приговора. Их место уже заняли другие пажи. Провинившиеся тарелки были отставлены. Свита в молчании сидела за столом, боясь притронуться к еде.

Но уже возвращалась государыня, и безмятежная улыбка играла на ее лице, и Нарышкин снова нес потешный вздор, и Владимир Орлов после объяснения с братом глядел веселее и готовился продолжать разговор о Европе.

Ласковый вид государыни усилил всеобщий аппетит, все набросились на еду, но ели осмотрительно, чтобы не вызвать нечаянного посудного звона и не обеспокоить императрицу.

Она снова обратилась к Владимиру Орлову, и тот, словно прощенный и оттого счастливый, начал рассказывать не только о Вольтере, но и о Дидро, который высоко отзывался о русской императрице и считал, что дальней азиатской стране повезло как ни одной другой.

Государыня, слыша лестные слова, иронически улыбалась, но не сердилась, внимала исправлявшемуся брату своего любимца и не заметила неприятного звякания ножей, которое допустил один из слуг.

— Ну, рассказывай все без утайки. Мы же друзья с тобой, — вкрадчиво сказал Ротштейн, памятуя о заветах Шуди: все должно строиться на доверии.

— О чем говорить, — пожал плечами Александр. — Я засмотрелся на государыню и… столкнулся.

— Нет! Нет! У тебя все получается просто, очень просто, слишком просто. Но есть русская пословица: простота хуже воровства!

— Но все и произошло очень просто. Я повернулся и столкнулся.

— Нет! Нет! Проследим диспозицию. Рубановский протянул тарелку. Что ты должен делать в этот важный момент?

— Я думал…

— Тебе не нужно было думать, ты должен был замереть!

— Но я решил…

— Нет! Не надо решать! Правила предписывают одно действие в один момент, а не два действия! Наступил второй момент — наступило бы второе действие, ты протянул бы тарелку с веером. Но ты не стал терпеть, ты понесся со своей тарелкой, как будто хотел осчастливить императрицу. Ты поступил неумно.

— Да, господин Ротштейн, я поступил неумно.

Гофмейстер смягчился.

— Но ты можешь загладить свой проступок. Вчера произошло дурное событие: из кондитерской похищены пирожные. Ты должен назвать вора.

— Я не знаю, господин Ротштейн.

— Очень жаль. Ты должен помнить о своих обещаниях, которые произносил, когда тебя зачисляли в пажи. Всегда тщательно доносить то, что к пользе или вреду ее величества касаться может.

— Но сие вреда ее величеству принести никак не может. Кроме как нашим желудкам.

Ротштейн отмел рукой слова как неприличные.

— Предерзостная шутка. Я повторяю, кто причастен к похищению придворного имущества?

Наступило молчание. Глаза Радищева казались озерами, застывшими в печали. Ротштейн с опаской отвернул свой взгляд.

— Жаль, что ты потерял память. Придется тебе посидеть в Комнате раскаяния.

Они были заперты в Комнату раскаяния думать о своем преступлении. В комнате — стол, два стула и две кровати на тот случай, если раскаяние затянется.

У двери караул: кандидаты в преступники сторожат самих преступников. Янов и Кутузов — в карауле, в комнате — Радищев и Рубановский. Первый хохочет, второй удручен.

— Что тебя так веселит? — мрачно цедит Рубановский. —

Теперь не станут посылать на дежурство у высочайшего стола.

— Молчи! — Радищев вытаскивает из-под кровати сверток. — Ты посмотри, что передал нам Янов.

Он извлекает из свертка две железные маски, в которых пажи упражнялись на уроке фехтования.

— Возьми. Ты железная маска, и я железная маска. Наденем и никому ни слова. Полная тайна… Господин Вольтер будет рассказывать по всей Европе, что в России есть удивительные арестанты.

— Вздор, детские дурачества, — тянет Рубановский, но глаза его уже поблескивают, затея начинает нравиться.

— Ты боишься Ротштейна, — говорит Радищев, надевая маску.

— Рубановский никого не боится.

Через час гофмейстер Ротштейн приходит проведать провинившихся. Он строго оглядывает караульных, и Янов, разлепляя налившиеся сном веки, докладывает:

— Происшествий не замечено.

Ротштейн входит в комнату и в ужасе вскрикивает: на него глядят не лица его добрых детей, а две маски, страшные и загадочные.

— Что это? Что случилось? — Ротштейн отодвигается к двери и наконец понимает, что перед ним обычные фехтовальные маски, которые здесь почему-то выглядят зловеще.

Маски молчат.

— Что это значит?

Тогда одна из масок глухо произносит:

— Под страхом смерти нам нельзя открывать лицо.

— Ах вот как, — с облегчением смеется Ротштейн. — Какая глупая шутка! — И вдруг понимает, шутка опасна: она продолжает ту же тему, из-за которой чуть было не случился скандал на высочайшем обеде.

— Боже мой! Боже мой! Если узнает об этом двор… Если узнает об этом двор… Вон! Шнель, шнель!

Радищев и Рубановский опрометью кидаются из комнаты…

Вечера — время любимое. Пажи, предоставленные самим себе, разбредаются повсюду: прячутся в саду, усаживаются на лестнице, залезают на чердаки и даже убегают на улицу в кофейные и бильярдные. Из углов выползает сумрак, в приглушенном вечернем свете прячутся всевозможные загадки, час свободы будит мечты. Кутузов зажигает вологодскую сальную свечу и склоняется над книгой — историей крестовых походов.

Но сегодня вечер тревожен: кого запишут в книгу

проступков?

— Меня и Радищева, — гордо говорит Рубановский.

— И меня, — робко вставляет Янов, обеспокоенный тем, что сегодня сильно отстал от друзей.

— А тебя-то за что? Никак, заодно? — усмехается Рубановский.

— Тогда и меня. — Кутузов отрывается от книги и преданно смотрит на всех.

— Тебя нельзя, ты святой, — машет рукой Рубановский.

Они умолкают. Янов скучнеет: жизнь несправедлива, ведь утром договаривались, что страдать будут вместе.

— Пирожные, — с надеждой роняет Янов.

— Пирожные? Ну и что? — спрашивает Рубановский.

— Ведь украли же…

— Ну, украл, положим, я.

— Но ел-то я.

Все смеются. Вчерашний вечер был веселым: Янов поспорил, что съест десять пирожных, которые Рубановский стащит в кондитерской комнате. Янов мужественно ел пирожные одно за другим, но подавился на шестом.

— Остальные же мы доели вместе, — напоминает Радищев.

— Утром бы и сознавались, — сердится Рубановский. — Вон теперь сколько проступков накопилось! Будет порка. Нет, промолчим.

— А завтра идти к священнику. Что ты скажешь на исповеди? — резонно напоминает Кутузов.

Они молчат, размышляя о сужающемся тупике, в который их загоняет жизнь.

Янов начинает убеждать: надо сознаваться. Во-первых, пострадают все вместе. Во-вторых, признанием в воровстве сохраняется кондитерская комната, тогда ее оставляют в доме — это обещал Ротштейн. А где еще полакомишься?

Доводы, особенно последний, убеждают. Они решают признаться по очереди. Сначала — один, через минуту прибегает другой, потом третий… это будет смешно, и гофмейстер раскудахчется, но поймет, что надо всех простить.

Первым должен идти Радищев.

Он крадется к домику Ротштейна и заглядывает в окно. Гофмейстер сидит за столом, лицо его размягчен-но, мечтательно, печально — он пишет письмо дочери. Иногда он притрагивается к стоящему на столе портрету дочери, гладит его.

И эту минуту надо было омрачить. Радищев вдруг понимает жестокость проделки, задуманной пажами. Он поворачивается и уходит.

— Ну? Ты признался? — нетерпеливо спросил Рубановский. — Теперь идем мы.

— Нет, — мрачно отозвался Радищев. — Это было бы издевательством.

— Но мы решили! Ты предаешь нас!

— Сделай я по-другому, я бы предал себя.

— Но почему?! Ты должен поступать как все!

— Я поступаю по собственной воле.

— Ты трус! — кричит Рубановский. — Завтра деремся на манеже в одиннадцать!

— Нет, — насмешливо отвечает Радищев. — Пожалуй, оставлю тебя в живых!

— Рубановский, Кутузов, — карандаш императрицы скользил по листу бумаги, — Радищев… Франц, не тот ли это мальчик с нежным румянцем, который так плохо держит серебряную тарелку?

— О, матушка, тот, — сокрушенно клонит голову гофмейстер Ротштейн. — Рассеянный мальчик, но в науках памятлив и искусен. В этикете же слаб, есть проступки, — печалится Ротштейн, уже готовый вычеркнуть Радищева из списка.

Екатерина задумалась:

— В Европе ему учиться не придворным церемониям. В науках — памятлив. Вон Владимир Григорьевич Орлов каких успехов в Лейпциге достиг. Оставим. Сказывали, что его дед, Афанасий Прокофьевич Радищев, денщиком у Петра Великого служил. Значит, ветвь доброго дерева… — И она обводит кружком фамилию.

Ротштейн благоговейно принимает бумагу. Ни один из пажей, которых он рекомендует послать в Лейпциг, в университет, не вычеркнут из списка. Это большая удача, это высокая оценка педагогического дара гофмейстера.

В декабре 1766 года несколько карет, наполненных провизией, домашней утварью, книгами, отправились из Петербурга в Лейпциг. Шесть пажей, чьи фамилии были обведены самодержавной рукой, да еще шесть молодых людей, отобранных в Москве, Новгороде, Смоленске, уезжали в далекую Германию, чтобы постигать там науки. Отец Павел осенял крестом тяжело нагруженный поезд.

Морамберт, Ротштейн, потерянные, погрустневшие, стояли на дороге. Прощание было недолгим, потому что новый гофмейстер Бокум, сопровождающий пажей, не любил сантиментов, торопил отъезд, а команды отдавал громкие и резкие, отчего кони вздрагивали…

КЛЕТКА ДЛЯ ГОСПОДИНА СТУДЕНТА

В Лейпциге любили порядок и галантное обхождение. У выхода из городского сада миловидная девушка вручала гостю букетик цветов; гуляющие на крепостном валу горожане издали раскланивались друг с другом, иной купец, даже неуч, останавливался, чтобы осведомиться о том, здоров ли благочестивый профессор Геллерт и на какую тему сегодня читал лекцию в университете Платнер; книгопродавцы, случалось, давали книги студентам на время под честное слово; в пивных всегда вежливо предлагали выпить вторую кружечку, полагая, что ограничиваться одной — значит, невежливо обращаться со своим организмом. Даже нелюбимого прусского короля Фридриха II жители Лейпцига не очень бранили, соглашались, что можно назвать его выдающимся монархом, но никак не великим. Какой же это великий человек, говорили они, если он во время Семилетней войны не жалел ни земли, ни денег, ни людей? Нет, уж ребенку ясно, что король понапрасну погубил свою превосходную армию… Тут, казалось, вот-вот вылетит по адресу Фридриха крепкое словечко, но нет, обходилось: горожане посмеивались и расходились: великий — курам на смех!

Редко нарушался порядок в тихом городе: однажды студенты подрались с солдатами, и еще был случай: студент стащил у мельника осла и проехал на нем по городу. В ответ на упреки в бессовестности студент отвечал, что он хотел представить, как Иисус въезжал на ослице во град Иерусалим.

В остальном порядок неукоснительно поддерживался, и ворота в город закрывались на ночь. Опоздал — плати штраф!

— Опоздал — получай розги! — говорил гофмейстер Бокум, когда русские студенты поздно возвращались с прогулок. Угроза не была пустой: князю Трубецкому досталось однажды фухтелем по спине.

— Русский студент глупый, ленивый, — определял Бокум. — Ему бы только набить брюхо, за девицами бегать или книжки пустые читать по ночам. Нет, майор Бокум не потерпит беспорядка!

Бокум прищемлял толстым пальцем нить свечи, у которой склонялись над книгой Рубановский или Кутузов. Свеча шипела, гасла — Бокум злорадно смеялся в потемках.

Набивать брюхо Бокум тоже не позволял. Наваристые щи да пироги с капустой остались в России. В Лейпциге их заменили

жиденький суп да кусочки старого мяса, положенного на хлеб по немецкому способу — бутерброд.

Когда один из студентов пожаловался майору на голод, тот изрек:

— Пустой живот — светлая голова!

Бокум любил порядок, но галантностью не отличался.

Александр жил вместе с Кутузовым. В комнате было сыро, окно смотрело во двор, глубокий и темный. Печь топить Бокум разрешал через день — и они ежились по ночам под старыми ветхими одеялами.

По черепичной крыше зимой сеялся неслышный холодный дождь. В церкви Босоногих братьев уныло звонил колокол. Дома вокруг в такую погоду хмурились, тяжелели, будто забытые богом монастыри. Но когда дождь уставал и затихал, солнце все равно не проникало в их келью, сырость не исчезала.

— Мы не монахи. Хватит киснуть! — Александр захлопывал книгу и тянул Кутузова за рукав.

Они любили ходить по улицам без цели. Лейпциг расступался перед ними неторопливо, степенно — город купцов и ученых. Из окон дома бургомистра Лейпцига неслись звуки клавесина, в пивных шумели студенты, на рыночной площади в длиннополых величавых одеждах прохаживались греки, приценяясь к товару. Около дома профессора Платнера торговали горячими, прямо со сковородки, пышками, и Радищев лез в карман за монетами: удержаться было невозможно.

Повелительный бой башенных часов отрезвлял их, и они мчались в университет. Там они слушали профессора Платнера, который в лекции рассуждал о гениях — о людях, имеющих особенность видеть в жизни то, что другие обыкновенно не видят, отличающихся высокой настроенностью духа. Платнер говорил: «Я вам поставлю в пример Франклина не как ученого, но как политика. Видя оскорбляемые права человечества, с каким жаром берется он быть его ходатаем! С сей минуты перестает жить для себя и в общем благе забывает свое частное. С каким рвением видим его, текущего к своей великой цели, которая есть благо человечества!»

Молча они шли домой рядом с Франклином, Монтескье, Марком Аврелием, Платоном, но резкий окрик Бокума возвращал их к действительности.

«Оставь, терпи», — Кутузов дотрагивался до руки Радищева, когда видел, что тот готов вспыхнуть и ответить Бокуму грубостью.

О терпении они спорили. Радищев доказывал, что Бокуму

надо дать отпор. Кутузов утверждал, что схватка с Бокумом унизит их: Бокум — животное. Он приводил примеры из истории, когда люди кротостью побеждали тиранов. Радищев из той же истории добывал сведения о борцах за вольность.

«Возблагодарим кротких и светлых духом», — произносил отец Павел на проповеди. Кутузов отворачивался от иронического взгляда Радищева: отец Павел оказывался странным союзником, он проповедовал то же, что и Кутузов, но делал все доводы смешными. Уж так на роду было написано отцу Павлу — быть смешным и смешливым.

На молитве он стоял зажмурившись из опасения, что когда откроет глаза и увидит искаженное от старательности лицо Рубановского или улыбочку Челищева, то не удержится — прыснет. Студенты это скоро заметили и воспользовались странностью своего духовного наставника.

Отец Павел однажды молился об избавлении от гордыни, о чистых сердцем, об овцах, верящих своему пастырю, и студенты подпевали ему безропотно и скучая. Неподалеку от иконы, к которой обращался отец Павел, лежали на столе перчатки и шляпы господ студентов. Отец Павел пропел слова молитвы, отвернулся от иконы и опять зажмурился, чтобы не видеть богопротивных насмешливых физиономий. Один из студентов воспользовался минутой. Крадучись, он стянул со стола одну из перчаток, сложил ее в форме кукиша и положил возле священника. Отец Павел окончил молитву, сделал несколько поясных поклонов и отворил зажмуренные глаза. Кукиш торчал прямо перед ним. «Ох», — сказал отец Павел и зашелся от смеха. Его с удовольствием поддержали студенты.

А в другой раз отец Павел объяснял, что такое ангел. Студенты были тупоголовы, и отец Павел выбирал сравнения попонятнее: «Ангел есть слуга господень, которого он посылает для посылок. Точно так у государыни нашей благомилостивой служит для разных посылок гофмейстер Франц Ротштейн». Студенты вспомнили толстого суетливого немца и засмеялись: Ротштейн слабо походил на ангела. Отец Павел засмеялся тоже, потом испуганно закрыл глаза, проникся сознанием своей греховности и сказал: «Аминь».

Нет, проповеди отца Павла, поющего о смирных овцах, были неважной опорой для Кутузова.

Бокум задирался. Сила кипела в нем и рвалась наружу. Он засучивал рукава и показывал мускулы.

— Железо! — Он любовно проводил ладонью по вздувшимся буграм. — Воля делает нас непобедимыми. Упражнение — основа

здоровья. Надо, Кутузов, гири поднимать, а не пыльные книжки читать.

— Оставьте его, он нездоров, — говорил Радищев, сдерживая раздражение.

— Отчего же он нездоров? — удивлялся Бокум.

— Хотя бы оттого, что в комнате сыро, печь нетоплена.

— Неженка! Комната холодная — душа горячая! Почему майор Бокум никогда не болеет? Потому что Бокум не жалуется никому и всегда готов к борьбе!

Он снимал камзол, оставался в рубашке и хвалился:

— Сейчас Бокум покажет, что есть воля и что есть сила.

С презрением оглядывал он молчаливый круг студентов и пояснял: нет, Бокум с хилыми не борется, он выбирает достойных соперников.

— Тимофей, Яшка! — звал он слуг.

Являлись рослый Тимофей и коренастый Яшка.

— Ну, канальи, — ласково говорил Бокум. — Упирайся мне в грудь, Яшка! А ты, Тимошка, ему в спину! А ну — столкните меня с места!

Слуги упирались, пыхтели, давили на Бокума, но железный гофмейстер стоял как скала.

— То-то же! — Он, слегка запыхавшись, гордо надевал камзол. — Нет такого человека, который столкнул бы с дороги Бокума.

— Господин майор, — Радищев обратился к нему со смиренным видом, — конечно, нет такого человека, а среди нас тем паче. Но против электрической силы никто еще не устоял. Страшный трепет производит она в человеке.

— Ну, — усмехнулся гофмейстер. — Где ваша электрическая сила? Я покажу вам, что есть воля.

Они пошли в комнату, где стояла, поблескивая металлическими шарами, электрическая машина, в которой ток рождался от вращения колес. Студенты, сцепившись руками, образовали круг, а Бокум встал у самой машины, держась за блестящий шар. Радищев начал вращать рукоятку машины.

Ток щипал и колол руки. Студенты притворно заахали, Бокум будто окаменел в сатанинской стойкости.

— Ну, еще! — скомандовал он. Быстрее крутились колеса, сильнее щипало в руках.

— Еще! — Студенты падали в ужасе. Бокум остался недвижим. Он один взялся руками за металлические шары, снова закрутилась машина, и Бокума трясло и било, но он держался упрямо, чтобы доказать силу своей воли.

Бокум оторвался от машины и, бледный, подозрительно

оглядел студентов, ища подвох в усмешках и шепоте.

— Сильному воздастся, а слабый унизится, — пробормотал он. Это означало, что на ужин студенты не получат курицу, о которой мечтали, а придется утешаться жиденькой кашей. Электрическая сила не помогла, Бокум победил и на этот раз.

— Напрасно. Неразумная шутка, — выговаривал Кутузов Радищеву.

— Отчего же? Майор корчился, как бес на сковородке, — смеялся беспечно Радищев.

Кутузов сказал строго:

— Бокум — деспот. А ты взялся с ним за руку.

— Я после умыл руки, — быстро сказал Александр.

Кутузов укоризненно покачал головой:

— Увертки… Они недостойны добродетельного человека.

Легкий румянец вспыхнул на щеках Радищева. Он на мгновение смешался, а потом закричал:

— Проповедник мой милостивый!.. Ты говоришь, как отец Павел, когда ему не показывают кукиш. Что такое добродетель? Идея добродетели произвольна…

Кутузов в ужасе вскочил:

— Как? Божественное начало в человеке — это: всего лишь произвол? Нет, добродетель вечна!

Радищев встал в позицию, словно поднял шпагу:

— Добродетельное на севере может считаться преступным на юге!

— Браво! — раздался голос от двери. Они оглянулись. В комнату входил Федор Васильевич Ушаков, старший среди российских студентов. — Да, добродетельным может быть даже убийство.

— Вы сошли с ума! — исступленно закричал Кутузов. — Как можно говорить это с веселой улыбкой!

Федор Васильевич хладнокровно сел на стул и жестом приказал спорящим сделать то же самое. Они повиновались.

— В книге француза Гельвеция «О разуме» рассказывается о диких племенах, которых голод и холод заставляет покидать хижины и идти на охоту. Перед отправлением они собираются и заставляют своих стариков взбираться на деревья, которые затем сильно трясут. Большинство стариков падает с дерева, и их немедленно убивают.

— Отвратительно, — прошептал Кутузов.

— Да, на первый взгляд. Но не спешите. Углубимся в причины. Дикари считают, что падение этих несчастных старцев доказывает их неспособность перенести все тяготы охоты.

Оставлять их в хижинах на мучительную смерть от голода, делать добычей лесных зверей или посредством быстрого необходимого убийства избавить от медленной и жестокой смерти? Дикари выбирают второе. Вот причина якобы отвратительного обычая. Выходит, отцеубийство здесь совершается на принципах человечности.

— Ужасно, — отозвался Кутузов.

— Потому что мы не понимаем общественной полезности этого обычая. А раз это полезно — значит добродетельно.

— Нет, я не соглашусь с вашим выводом, — мрачно сказал Кутузов. — Добродетель не зависит от времени и формы — правления, она едина и неизменна.

— Тогда что же это такое?

— Это, это… — дрожа и краснея, говорил Кутузов. — Это сама идея порядка, гармонии и красоты…

— Туманно… А я вам выкладываю факты…

— Фактами можно подкрепить ложные понятия. Софистикой оправдать ложь. Надеюсь, ложь вы не станете возводить в добродетель?

— Не надейся, — снова заговорил Радищев. — А ложь во спасение? Гельвеций рассказывает, что основатель государства инков прибегнул ко лжи, объявив перуанцам, что он сын Солнца и что он принял законы, продиктованные Солнцем. Эта ложь внушила дикарям большое уважение к его законам. Разве она не была полезной для государства? Гельвеций считает, что нельзя не признать добродетельной эту ложь.

— На лжи построенное государство. Сколько может жить ложь?

— Отчасти ты прав. Да, вначале она была благом. Но затем основатель государства должен был бы предвидеть перемены в интересах, настроениях, нравах народа и раскрыть народу ту полезную необходимую ложь, к которой ему пришлось прибегнуть, чтобы их сделать счастливыми. Он снял бы с этих законов характер божественности. Тогда их можно было бы с течением времени изменить. Жизнь изменилась, а законы оставались священными и ненарушимыми. Но сын Солнца не сделал попытки изменить их, и государство ослабло и не могло сопротивляться вторжению европейцев.

— Значит, я все-таки прав, — тихо заметил Кутузов.

Они умолкли. История обрушивалась на их головы, и в лавине веков надо было найти узкую тропинку, чтобы выбраться к свету, к истине.

— Вы правы, защищая добродетель, — ответил Ушаков. — Но не правы, когда отворачиваетесь от жизни, которая всегда

поражает нас своей неожиданностью. Понятие добродетели изменчиво. В некоторых африканских государствах главной добродетелью является принесение первых плодов жатвы верховному жрецу. В то же время там не считается зазорным для мужа продать жену, для сына — отца. Гельвеций учит, что таково обычное следствие деспотизма: презрение к истинной добродетели.

— Если все столь зыбко, что же такое истинная добродетель?

Ушаков с легкой улыбкой уверенно отвечал:

— Это не что иное, как желание счастья людям.

— А еще проще: привычка к полезным для народа поступкам, — быстро сказал Радищев.

— Пусть привычка не умеряет вашу страсть. Не забывайте о пылком юноше Курции, — торжественно заключил Ушаков. — Когда на форуме разверзнулась бездна, грозящая поглотить Рим, оракул предсказал гибель городу, если римляне не отдадут свое лучшее сокровище. Тогда Курций, движимый благородной страстью, на коне с оружием бросился в пропасть. Она сомкнулась, Рим был спасен.

Вечера манили на улицу. В загородном саду играла музыка, в аллеях прогуливались обыватели, на скамьях, а то и просто на траве сидели сосредоточенные студенты с книгами, другие, окутанные табачным дымом, болтали и смеялись в кругу друзей.

Человек с тарелкой остановился перед российскими студентами: это был сбор в пользу музыкантов. Радищев полез в карман. Кутузов со вздохом заметил:

— Это последние наши ефимки.

— Пусть. За удовольствия надо платить. — Серебряная монета немецкой чеканки прощально звякнула.

Они жаждали неожиданных встреч, а может быть, и приключений. Оркестр играл веселее. Музыка манила, обещала исполнение надежд.

Они любовались пейзажем и спорили о том, чьи окрестности живописнее: Дрездена или Лейпцига. Александр утверждал, что природа Лейпцига несколько монотонна, равнина утомляет взор. Ландшафты Дрездена разнообразны и потому прекрасны. Окрестности Лейпцига, возражал Кутузов, располагают к себе более, потому что они милы, хотя и не столь ярки.

Этот несколько теоретический разговор им быстро наскучил, и они замолчали и остановились, вдруг сражен-видом девушки, продававшей тюльпаны, красота которой была и ярка и мила.

— Бог мой! — прошептал Александр. С загоревшимися глазами он подошел к цветочнице. Рдели красные тюльпаны, и отблески их пламени падали на ее лицо. Радищев залез в

карманы, но монеты не обнаружил.

— Ах, какая досада! — растерянно сказал он, но тут же добавил: — Впрочем, есть ли на свете деньги, которые были бы достаточны оплатить такое диво?

— Господин студент — поэт? — с любопытством спросила цветочница.

— Нельзя не быть поэтом, когда видишь таких краса-вид! — в том же духе продолжал Радищев, и лёгкая улыбка девушки была одобрением его отваги.

— Если господин студент в затруднении, то он может принести деньги завтра. — Она протягивала букет уже счастливому Радищеву.

Они пришли назавтра, и рука Александра, отдавая монету, слегка дрожала, потому что, говорил Кутузов, «стрела, выпущенная Амуром, попала в цель».

На этот раз у них наготове были деньги и запас острот. Радищев вспомнил кстати изречение, которое было вычитано у Гельвеция: «Земля рождает цветы, искусство делает из них букеты». После этой фразы обнаружилось, что цветочнице не чужды поэзия и философия, она знает стихи Геллерта и знакома с самим профессором: он проезжает по улицам на своей белой смирной лошадке, которую ему подарил курфюрст, останавливается и покупает цветы. О Гельвеции она, правда, ничего не слышала, но если это достойный господин, то она рада с ним познакомиться. Он француз? Странно, они такие насмешники, среди них мало серьезных людей… А у русских кто занимается философией? Как, у русских нет великого философа? Тогда понятно, почему они такие спорщики и драчуны…

Радищев начал с горячностью говорить о том, что русским некогда заниматься философией, у них суровая природа и большие пространства земли, им надо бороться с засухой, с голодом, с дикими зверьми — им не до любомудрия. Но, прижав руку к сердцу, он пообещал цветочнице, что и в России скоро появятся любомудры немцам на зависть. Цветочница сочувственно выслушала его пространную речь и со вздохом заметила: «Жаль, что нет философии. Тогда о чем же вы говорите после обеда?»

Они пришли в восторг от ее слов. Вечер получился необыкновенным. Лизхен (так звали девушку) быстро распродала цветы. Они болтали до темноты, причем Лизхен делала замечания, давала советы, свидетельствующие о том, что некоторым философам вполне можно было поучиться мудрости у нее.

Но «мудрость главенствует в советах, а судьба в событиях»,

сказано у Гельвеция. И событие не замедлило произойти. Неподалеку от скамейки, где они сидели, вдруг остановился худой старик и закричал визгливо: «Лизхен! Ты меня сведешь в могилу. Пора доить корову!» Лизхен вспорхнула и улетела, едва попрощавшись с друзьями.

Раздосадованные, они смотрели вслед цветочнице и ее сварливому отцу. За этой неприятностью последовали другие. Городские ворота были закрыты, и студентам отворили только после того, как они заплатили штраф. У дверей дома опять возникло осложнение: там стоял солдат и по распоряжению Бокума не пускал загулявшихся россиян. Спас Челищев, который спустил веревочную лестницу во двор, и они вскарабкались по ней в свою комнату, смеясь и проклиная зловредного майора.

Утром все говорили о том, что надо проучить Бокума. Обстоятельства вскоре помогли этому.

Заболел один из студентов — Насакин, который жил в самой сырой и темной комнате. Насакиия лихорадило, он не стерпел, поднялся с постели и пошел искать гофмейстера.

Бокум в тот момент наслаждался бильярдом. Насакин робко постучался в дверь, из-за которой доносился стук шаров и восторженное уханье. Не дождавшись ответа, Насакин вошел.

Бокум затаил дыхание и целил кием. И писарь, его помощник, тоже задержал дыхание и выпучил глаза, так как волновался за успех хозяина. От скрипа двери Бокум поморщился, но ударил. Шар в лузу не попал.

— Чего тебе? — С досадой Бокум уставился на Насакина.

— Господин майор, я болен. Я прошу, чтобы истопили печь, мне холодно.

— Ха! У вас чуть заболит палец, вы уже в постель. А Бокум трудится даже больным.

— Господин майор, у меня озноб…

— У тебя озноб изнутри, а снаружи ведь тепло. Весна. Не срок топить. Мне матушка-государыня наказывала беречь казенные деньги. Поди, не мешай. Молодой — поправишься.

— Господин майор…

— Поди, поди! — Бокум толкал Насакина к выходу.

— Господин майор, мое требование справедливо, вы поступаете тиранически!

Бокум рассвирепел:

— Я тиран! Ах ты, скверная морда! — И Бокум ударил Насакина по щеке.

Насакин побледнел. Ни слова не говоря, он поклонился начальнику и вышел.

…В студенческих комнатах бушевала буря.

— Негодяй! — кричал Рубановский. — Он преступил человеческие законы! Надо написать в Петербург.

— Мы напишем, и нас же обвинят в бунте, — заметил осторожный Кутузов.

— Надо отказаться от еды, устроим голодовку, — предлагал Челищев.

— Нет, у Бокума набиты кладовки, украдем то, что он у нас украл, — практично советовал Янов. Радищев внимал спорам безмолвно, но голова его пылала от разных проектов.

Они собрались у постели Федора Васильевича Ушакова, которому давно нездоровилось. Федор Васильевич спокойно, как старейшина, выслушал всех и произнес:

— В общежитии, если таковой случай происходит, он не может быть заглажен иначе, как кровью.

— Правильно! — закричали все.

— Чем мог искупить римский народ свою вину, когда погибли благородные его защитники братьи Гракхи? Только кровьюо, — торжественно сказал Ушаков.

— Насилие рождает право на месть. Кромвель отомстил за народ казнью короля, — заметил Радищев.

Воцарилась тишина, и в эту минуту герои-мученики всех времен заглянули в тесные студенческие комнаты.

— Око за око! — произнес Рубановский.

— Насакин должен требовать от него удовлетворения, — присудил Федор Васильевич.

Дуэль! Поединок! Воздух, казалось, был насыщен электричеством. Однако Насакин протянул неуверенно:

— Как же… ведь он гофмейстер.

— Он преступил законы, и ты можешь считать его равным себе. Нет, ниже себя, — медленно внушал Ушаков.

— Это нелепо, господа, драться с учителем!

— Если ты пренебрежешь нашим мнением, ты лишишься нашей приязни, — внятно сказал Радищев.

Кругом стояли мрачные друзья: от этой каменной степы отскакивали всякие аргументы. Насакин набрал в грудь воздуха, как перед нырянием, и, бледнея, произнес:

— Я потребую от него удовлетворения!

Наступил день возмездия. С утра Александр ушел в лавку

купить пистолеты. Как их использовать — он еще сам не знал: может быть, он вручит ах тем, кто выйдет на поединок, а если дуэль сорвется, он, как Вильгельм Телль, направит оружие на деспота.

В этот день он ходил стремительно и постоянно оглядывался по сторонам. Казалось, за каждым углом прячутся помощники Бокума, и пучеглазый писарь в парике с длинной косой следит за передвижениями студентов и пишет доносы в Петербург.

Собрались в горнице, где обычно совершали свою скудную трапезу. Федор Васильевич, осунувшийся, желтый, встал и молча оглядел мрачных и решительных россиян.

— Мы ждем, — коротко сказал он.

Насакин кивнул, отошел в угол и стал там со скрещенными на груди руками. Одет он был торжественно: в шляпе и со шпагой.

За Бокумом послали.

Гофмейстер вошел в комнату и остановился посредине, уперев руки в бока. От его фигуры веяло несокрушимой силой. Насакин отчаянно рванулся навстречу.

— Вы, вы, — заговорил он сбивчиво, оглядываясь на друзей. — Вы меня обидели, и я… я теперь пришел потребовать от вас удовольствия.

Бокум будто разглядывал перед собой насекомое.

— Какую еще обиду? Что за удовольствие?

— Вы дали мне пощечину.

— Неправда. Вы — лжец.

— Нет, я не лжец. Я требую удовольствия, сейчас же требую, — твердил Насакин. Казалось, он никак не мог найти слова «удовлетворения».

Бокум смерил его презрительным взглядом.

— Извольте идти вон. Не было пощечины.

— Не было, так будет. — Насакин взмахнул рукой и звонко шлепнул ладонью по круглому лицу Бокума. Не успел майор опомниться, с другой стороны прилетела вторая пощечина.

— Вор! — взвизгнул Бокум. Он поднял руки, закрывая голову, и отступил к двери. Оттуда высунулся писарь. Глаза писаря выскакивали из орбит, коса в ужасе металась по плечам. На боку у Насакина болталась праздная шпага, и писарь вцепился в нее, чтобы обезоружить вора и спасти господина. Пока он тянул шпагу, кто-то сорвал с него парик, и писарь оставил шпагу и кинулся на обидчика.

Бокум тем временем вышел из горницы. Писарь вопил во спасение парика, который студенты играючи уже передавали из рук в руки.

Насакин, скрестив руки на груди, ожидал нападения неприятеля. Александр сжимал в карманах пистолеты, готовый всадить свинец в тирана, когда он войдет. Ничего, что дула были заряжены дробью, кровь все равно прольется и смоет позор покорности. Но Бокум, оглушенный легкими юношескими пощёчинами, боялся входить и о чем-то за дверью кричал с угрозой.

Федор Васильевич решительно подошел к двери и повернул ключ: «Все». Народная месть была совершена.

Бунт Бокум подавлял армией. Через полчаса в дом ворвались солдаты, присланные местным военным начальником, и разогнали студентов по комнатам. Произведены обыски и отобраны всякие колющие и режущие предметы: шпаги, ножи, ножницы, а также перочинные ножички. Военным положением предписывалось студентам в трапезную не ходить, принимать пищу в спальнях, с коей целью кушанье надлежало поставлять им нарезанным, дабы не потребовались ножи. Окна, было указано, забить, оставить токмо малые отверстия для возобновления воздуха. Двери в спальнях снять, дабы можно было из предспальной комнаты наблюдать за бунтарями.

В Петербург полетели депеши. Бокум сообщал, что в Лейпциге произошел бунт против порядков, установленных ее величеством, и что только случай спас его от смертоубийства. Всей шайкой смутьяны покушались на его жизнь, хотели заколоть шпагой, только героические действия писаря (который посему должен быть награжден) предотвратили несчастье.

В почтовых средствах Бокум имел явное преимущество перед студентами. Им удавалось писать друг другу только записочки, привязывать их на длинную нитку, выпускать в оконное отверстие, чтобы ветер мог отнести к окну внизу. Радищев предлагал бежать из заключения и отправиться в дальние страны, в Голландию или Англию, а оттуда в Ост-Индию или Америку. Кутузов убеждал не горячиться, а пожаловаться российскому министру в Дрезден. Но письмо, написанное в Дрезден, перехватил Бокум.

И тут им на помощь пришел молодой преподаватель Август Вицман. Он отстранил мощной дланью ружье, которое угрожающе выставил ему навстречу солдат, и вошел к студентам. Его речь была пылка, на глазах блестели слезы:

— Друзья! Я не могу созерцать этот ужас! Я готов лететь за тысячи верст, чтобы воззвать к справедливости и спасти вас, несчастных героев.

Они собрали ему денег, и Вицман отправился в Дрезден и в

Петербург.

Бокум, наклонив упрямо голову, обходил спальни.

— Ну, каково? — Его вопрос повисал в воздухе, ему не отвечали, и он удовлетворенно кивал: — И поделом.

Дня через два после объявления военного положения Бокум распорядился: водить студентов по одному на смотрины нового орудия наказания.

Солдат делал положенный артикул и с выброшенным ружьем наперевес вел арестанта на смотрины.

Около большой, в человеческий рост, железной клетки стоял Бокум и гостеприимно распахивал дверцу:

— Нравится?

Не удовлетворенный молчанием арестанта, пояснял:

— Для тебя.

Разговора не получалось, и Бокум гремел:

— Смутьян есть зверь, наилучшее положение которого в клетке. Всякий, преступивший божеский и государственный закон, заключается в ней. Бокум — добрый человек, Бокум готов сражаться с вами в бильярд, но можно ли играть со зверьми?

Арестанта уводили, а Бокум объявлял всем, что будет суд, потому что Бокум уважает законы и произвола не допустит.

Университетский совет по требованию гофмейстера учредил суд.

К допросам возили скрытно, как в тайную канцелярию. Господин надворный советник Беме, профессор государственного права, качал головой в затруднении, какие правовые начала употребить в сем странном случае: обратиться ли к римскому праву или внять духу законов, предложенных новейшим философом Монтескье. «Ох, эти русские! Они всегда что-то напутают», — негодовал маленький Беме, чувствуя тайное удовлетворение от того, что немецкому гению, строгому, ясному, логичному, не свойственны разрушительные славянские страсти. Университетская снисходительная инквизиция приняла решение освободить всех, кроме Федора Васильевича, чей тон на допросах был сочтен вызывающим. Однако вскоре по приказу русского посла в Дрездене был помилован и Ушаков.

Затем в Лейпциг приехал сам русский посол и стал вести дела перемирия. Соглашение было заключено на равных основаниях: Бокуму оставляли право замещать должность (а значит, и право воровать), студенты освобождались от его опеки и могли жить сообразно своей совести и правилам.

— В городе говорят, вы хотели убить своего учителя. — Лизхен светло улыбалась, и сиял ее белый передник, и блестел в ее руках бидончик с молоком.

— Лизхен, разве можно говорить об этом прохвосте, когда пришли вы. — Он был почти счастлив.

— Но господин гофмейстер очень добрый человек.

— Ах, Лизхен, это ужасно, не продавайте ему молока.

— Нет, отчего же, господин Бокум не скупится и всегда хорошо платит.

С уверенным видом она пошла к двери, за которой жил павший тиран. Она уходила, и улетала мечта, потому что нельзя было любить человека, который поил молоком врага.

«Ну и пусть, ну и прекрасно, ну и отлично», — твер-дил Александр, замерев от боли. Лизхен обернулась, помахала рукой, но российский студент стоял кап каменное изваяние.

Тропинка, которая вела в прекрасный дворец любви, оказалась обрывистой. Он споткнулся на ней и, как ни странно, почувствовал облегчение. Стрела Амура вырвана из раны, он свободен, ничто не должно мешать быстрому постижению наук, к чему призывал Федор Васильевич. Во время бунта они совсем забросили науки, и это небрежение Федор Васильевич строго осуждал.

Через несколько минут он уже сидел у кровати больного Ушакова и исповедовался.

Федор Васильевич выслушал внимательно и сказал, что любовь — вещь опасная, что она превращает оленей в тигров. Любовная страсть сама по себе не вызывает ни одобрения, ни осуждения, но остерегаться ее должно, так как она отвлекает гражданина от поступков, полезных отечеству.

Александр внимал старейшине безропотно, но вдруг почувствовал неодолимое желание устремиться вдогонку за Лизхен: так чудно блестели ее глаза, так нежно пахли волосы, так ласково позвякивал бидончик. Но бежать за молочницей было так же невозможно, как невозможно было Насакину пренебречь волей друзей, их желанием выполнить акт возмездия.

Чтобы отмести наваждение, Радищев заговорил о Бокуме, который теперь подло мстит, старается лишить студентов сносного питания.

Ушаков усмехнулся:

— Он прав.

— Как прав? Он вор…

— Наше общество распалось. Мы не подчиняемся ему и не можем ничего от него требовать. Право предполагает обязанности, и наоборот, обязанности гражданина дают ему право. Человек, вступая в общество, обязуется терпеть зло, причиняемое ему начальником, потому что это зло приносит ему добро — общественное спокойствие.

Ушаков говорил внятно и твердо, как по-писаному, и это было не удивительно: он излагал мысли своего сочинения о праве на наказание и смертную казнь.

— Бокум — наш государь. Мы разорвали связи с ним. Можем ли теперь сетовать на него?

— Ну а если бы Бокум остался бы нашим государем? Имел бы он право на свои издевательства?

— Тогда иное дело. Но разумно ли ему издеваться над нами? Что такое благо государственное? Вообрази: государство есть некая нравственная особа, и граждане оного — ее члены, руки и ноги этой особы. Можно ли подумать, что человек, раздробивши себе одну ногу, захотел воздать зло за зло и преломил потому другую ногу? Положение государства сему подобно. Вот почему государство должно заботиться о благосостоянии и свободе своих граждан. Оно не может желать себе зла.

— Но выходит, деспотические государства желают себе зла.

— Деспотизм лишает народ добродетелей. В странах, где замалчивают мысли, думают мало. Кто смеет самостоятельно мыслить среди народа, подчиненного произволу? Гельвеций утверждает, что развращенность людей, леность, бездеятельность, непривычка мыслить есть дурные следствия деспотизма.

Они заговорили об императорах-деспотах, о Калигуле, Нероне, Диоклетиане, о свирепости наказаний, о нелепости смертной казни, которая никак не служит исправлению нравов.

Они подолгу говорили о материях высоких и важных и при этом не уставали.

Их охватил азарт познания. Радищев не расставался с толстым томом «Основательные наставления хирургические, медические и рукопроизводные в пользу учащимся», где были изложены приметы всех болезней и способы их лечения. Кутузов увлекался Библией и странствовал в мыслях по древней земле Ханаанской. Янов не пропускал лекций благочестивого профессора Геллерта. Рубановский усердно склонялся над лексиконами, он готовил себя к дипломатической карьере и изучал множество языков.

Когда науки утомляли, они шли в город, в ресторацию «На огородах», где лакомились превосходными пирожными, сочиненными пирожником Генделем, чье искусство воспел студент Иоганн Вольфганг Гёте, будущий немецкий поэт:

Твой гений творческий печет оригиналы
Пирожных, любят их британцы, ищут галлы.

А кофе — океан, что у тебя течет,
Конечно, слаще, чем Гиметта [2] сладкий мед!

Стихи были написаны на стене карандашом, российские студенты спрашивали об авторе, и им указывали на высокого стройного студента с орлиным профилем и темными сверкающими глазами.

В воздухе была разлита поэзия, стихи читали прямо в ресторации, иные студенты вскакивали в азарте иногда на стол. Молодые поэты, охотясь за образами и мыслями, бродили в одиночестве по берегам реки, и комары отчаянно жалили их, не давая возможности сочинять вечные строки. У русских отношение к поэзии было прохладным, они предпочитали философию. Они рассуждали о деспотизме и рабстве, о формах правления, о добродетелях и о том, что государства бедные были всегда богаче великими людьми, чем государства богатые. Монтескье, Вольтер, Мабли будоражили их, и Радищев трактовал слова Мабли по-своему, на российский манер: «Самодержавство есть наипротивнейшее человеческому существу состояние».

Лизхен мелькала в толпе горожан, и Александр холодно кланялся ей издали и торопился уйти, боясь, что решимость покинет его и он снова подойдет к той, что считает деспота добрым человеком.

Часто с ними гулял Федор Васильевич. Болезнь его съедала, он исхудал, но никогда не жаловался. Он шел с друзьями, с наслаждением прислушивался к их болтовне, иногда вставлял весомое слово. И в шутку и всерьез он любил вспомнить какое-либо латинское выражение. «Кво ус кве тандем абутере, Катилина, патиентиа ностра?» [3] — насмешливо говорил он Кутузову, который все толковал о масонах: они сообща построят храм Соломона, храм любви и мудрости, человеческой солидарности. А Рубановского, который весьма интересовался событиями придворной жизни, наставлял: «Первая мудрость — глупость отбросить».

Латинский язык он любил за силу выражений, за кованые громоподобные фразы, вобравшие дух державства и вольности и оставленные на века. Ушаков не мог ограничиться лекциями в университете, он приглашал учителей латинского языка на дом, и утро заставало его беседующим с римлянами.

Состояние его ухудшалось. Он слег в постель, но продолжал штудировать книга.

Однажды Ушаков прервал работу и попросил привести врача.

— Скажи, буду ли я жить? Если болезнь неизлечима, то ответь: сколько дней мне осталось.

Врач замялся и шуткой решил отвлечь больного от черных мыслей:

— На то ответить могут только гадалки. Они сидят на рыночной площади, раскладывают карты и объясняют все очень точно.

Федор Васильевич взглянул строго:

— Ты — мой друг, тебе не надо гадать. Твои знания скажут.

— Что мы знаем о человеке? — вздохнул врач.

Радищев всматривался в желтое угасающее лицо Ушакова и понимал, что конец близок. Но врач молчал, он знал, что надежда и утешение часто спасают человека, а правда убивает.

— Не думай, — сказал Федор Васильевич, — что, возвещая мне смерть, дух мой приведешь в трепет. Днем раньше умрем, днем позже — не все ли равно, можно ли соразмерять это с вечностью. Почитай Сенеку, ты увидишь, что я прав.

Федор Васильевич глядел прямо и ждал ответа. Врач молчал, Радищев замер, пораженный необыкновенной сценой.

— Пусть будет по-твоему, — сказал врач сурово. — Более двух суток жизни не могу обещать тебе.

Радищев с ужасом смотрел на Ушакова. Но тот спокойно взял врача за руку:

— Благодарю. Нелицемерный ответ твой почитаю истинным знаком нашей дружбы. Прости в последний раз и оставь меня.

Ушаков велел позвать всех. Многие вошли со слезами на глазах.

— Час пришел, расстаемся. Хочу надеяться, что в суете вы не растратите доброе и высокое, что есть в вас. Прощайте.

Он попросил на время оставить одного, а через час позвал Радищева:

— Возьми мои бумаги, употреби их, как тебе захочется. Помни, что я тебя любил. Помни и о том, что в жизни надо иметь правила, чтобы быть блаженным. Должно быть тверду в мыслях, чтобы жить и умирать бестрепетно.

Александр с трудом удерживал рыдания. Ушаков ласково улыбнулся:

— Ну, вот и все.

На исходе дня ему стало совсем плохо. Антонов огонь сжигал тело, на коже появились черные пятна. Пришел врач.

— Дай мне яду, — чуть слышно прошептал Федор Васильевич.

Врач отрицательно покачал головой.

— Дай, пожалей…

Врач молчал. Радищев тоже оставался недвижим.

Всю жизнь он потом вспоминал этот миг, корил себя: надо было внять просьбе Ушакова, который, читая Плутарха, часто приводил слова идущего на смерть Катона как свидетельство великого мужества: «Иного выхода я не вижу…»

Но тогда он не мог шевельнуться.

Утром Ушаков скончался. Они похоронили его на городском кладбище, в нескольких шагах от громадного дуба, словно в надежде, что соседство этого пятисотлетнего гиганта продлит короткую жизнь их старшего друга.

Он остался в немецкой земле, их ожидал обратный путь — в Россию.

ДЕРЗОСТНЫЙ ДОКЛАД

Рубановские давали бал. Василий Кириллович обессилел от хлопот и приготовлений, и если бы не помощь брата Андрея Кирилловича, недавно вернувшегося из Лейпцига, где проходил курс наук, то вместо бала, как слезно шутил хозяин дома, «случились бы похороны».

Однако празднество надо было устраивать: как-никак одна дочь на выданье, и еще две подрастают. Да и от соседа Найдорфа нельзя отстать: скупой немец, а такую ассамблею на прошлой неделе раскатил, что весь Петербург о том судачит и сама императрица позавидовала.

Василий Кириллович еще раз пробежал список гостей, не забыли ли пригласить кого, и наткнулся на новую приписанную фамилию — Радищев.

— Андрей, — со строгим видом он повернулся к брату, — отчего я не предупрежден? Ты все о своих приятелях хлопочешь? У нас все-таки соберутся видные люди.

— Александр очень видный собою человек, даже просто красавец.

— Не шути. Этот мальчик…

— Опомнись, прошло столько лет! А тебе все чудится маленький паж.

— Ну, как знаешь, — недовольно произнес Василий Кириллович и, не желая обострять разговора, заторопился в залу, проверить, хорош ли оркестр и не будет ли сраму от худого звучания инструментов.

Камер-фурьер Рубановский любил порядок, каждая строка должна быть прилажена к своему месту. Он ежедневно аккуратно делал записи в придворный камер-фурьерский журнал, и эта методическая работа давала ему ощущение собственной значимости. Еще бы — он был придворным летописцем! Одной давней записью он особенно гордился: государственным событием тогда было отмечено, что императрица «изволила воспринимать младенца у камер-фурьера Рубановского». У младшей дочери Дашеньки крестной матерью оказалась сама Екатерина Вторая!

Это воспоминание окрыляло, ободряло, и легче было сносить упреки супруги Акилины Павловны в том, что он никак не продвигается в чинах и застрял на статском советнике;

«Ну что, ваше высокоутробие? Каково?» — снисходительно спросил Василий Кириллович у повара и отер лицо платком. «Не изволите беспокоиться. Не хуже, чем у Лукулла», — отвечал с

достоинством начитанный повар.

Но вот хлопоты кончились, и наконец наступила та торжественная минута, ради которой все крутом доводилось до блеска, ради которой хозяйка дома уже три дня пила успокоительные капли, ради которой был приглашен президент Коммерц-коллегии граф Александр Романович Воронцов и другие влиятельные лица.

Радищев вошел с уверенным видом щеголя. Василий Кириллович сказал ему несколько любезно-холодных фраз и тут же отвернулся от гостя, спеша к другим.

Андрей повел своего друга знакомиться с семейством Рубановских. Но разговора с Рубановскими не получилось. Акилина Павловна ограничилась кивком головы, любопытная Лиза обратила к гостю свое живое рябоватое некрасивое личико с вопросом, но Радищев был невнимателен: он смотрел на Анну.

Пели скрипки, шаркали ноги, к нему обращались, он что-то отвечал, но видел только эту тихую статную величавую девушку с ясным теплым взглядом серых глаз.

Объявили кадриль, он поспешил пригласить Анну, но ему помешали, он не успел и с досадой остановился и отвернулся, чтобы не смотреть на нее, уводимую властной рукой более предприимчивого кавалера. Кадриль была бесконечна, и бесконечна последовавшая за ней пауза. Наконец начались приготовления к английскому танцу — контрдансу, он кинулся, оскальзываясь на натертом полу, приглашать и был вознагражден улыбкой. В танце он обрел уверенность, движения его имели щегольскую отточенность. Взглядов, одобряющих его искусство, он не замечал и танцевал так, как будто это был его последний выход в свет.

За контрдансом последовал полонез, и Александр опять пригласил ее. Длинный танец показался обидно коротким, они остановились и взглянули друг на друга. Он искал слова, которые ей скажет, но не находил и вдруг неожиданно для себя похвастал:

— На этой неделе у меня третий бал.

— А у нас балы редки. Зато по вечерам много музицируем.

— Сказывают, у вас пела сама Габриэлли?

— Нет, батюшка думал пригласить ее, но побоялся, что государыня будет недовольна. Она теперь ее не жалует.

— Она любит только тех иностранцев, которые далеки от нее. Вольтера, например…

— Не смейтесь над государыней, батюшка услышит — рассердится.

Снова зазвучала музыка, и снова он танцевал с упоением, не замечая озабоченного взгляда Василия Кирилловича и нахмуренного лица Акилины Павловны.

Потом его тронул за рукав Андрей Рубановский.

— Аннушка, мне нужно сказать кое-что Александру.

Они отошли.

— Саша, я любуюсь тобой. Анна славная. Но ты слишком демонстративен… вот что… пропускай некоторые танцы. Нельзя, нехорошо. Дело в том, что у Анечки есть жених… Нет, нет, еще не жених. Но в семье на него есть виды. Камергер. Вон тот господин.

Мир покачнулся. Стало пусто и холодно. Радищев потухшим взглядом смотрел в другой конец зала, где с каменным лицом стоял некий господин в синем камзоле.

— Саша, я не хотел тебя огорчать. Просто будь сдержаннее.

Радищев посмотрел на Анну. Та отвечала ему долгим мягким взглядом.

— Нет, — быстро сказал Радищев. — Ты плохой посол. Я буду скакать, пока не упаду.

И он ринулся в бал, как в омут, не думая ни о камергере, на которого у Рубановских есть виды, ни о Василии Кирилловиче, ревниво следящем за дочерью, ни о себе самом, поведение которого становится уже неприличным. Анна спрашивала его, чем он хочет заняться после Лейпцига, Александр отвечал, что он сейчас протоколист в Сенате, но быть канцелярской крысой не его удел, у него есть виды — он подчеркнул «виды» — найти экономические занятия, может быть, выбрать морскую торговлю, на значение которой указывал Петр Первый, а ведь дед — Афанасий Прокофьевич Радищев был денщиком Петра, значит, и внуку пристало помнить о завете славного царя.

Анна отвечала, что она тоже чтит Петра Великого и что, конечно, морская торговля — замечательное дело. Он сказал, что в восторге от ее поддержки и что после такого прекрасного вечера он никуда, ни на какие другие, самые великолепные балы не пойдет. Ее смех был наградой.

Вдруг музыка стихла, все повернулись к входу. Туда уже летел Василий Кириллович, бледный и счастливый: прибыл сам президент Коммерц-коллегии граф Александр Романович Воронцов. Он сказал, что рад видеть добрейшего Василия Кирилловича, но не может долго оставаться на празднике, сегодня горели амбары в порту, на Пеньковом буяне, и требуется неотложное разбирательство, пусть уж Василий Кириллович не посетует. Но Василий Кириллович и не думал сетовать, это просто подарок судьбы, что его сиятельство прибыл в его скромное жилище, украсил их праздник.

Началась долгая церемония знакомств, узнаваний, расспросов. Александр Романович обходил гостей. Очередь дошла до Радищева.

— Александр Николаевич Радищев, друг моего брата. Учились вместе в Лейпциге, — скупо обронил хозяин дома с

намерением двигаться дальше, но Воронцов с любопытством поглядел на раскрасневшегося Радищева:

— А что, по-прежнему ли хороши мануфактуры в Лейпциге? Не следует ли нам больше закупать тканей у них?

— В Лейпциге надо закупать поэтов, они там блистательно хороши, — отвечал без улыбки Радищев.

Воронцов рассмеялся.

— Поэтов лучше закупать во Франции.

— Во Франции они слишком умны. А поэтам умничать не следует.

— Слава богу, поэты не по моей части. Капризный был бы товар. У них все шутки, дельного слова не дождешься, — с некоторой досадой сказал Воронцов.

«Явление цезаря, — проводил его взглядом Радищев. — Отчего это только вошел — все замерло, никто уж не танцует, не дышит. Все должны стоять навытяжку и отвечать на его высокоумные вопросы».

«Пустослов, не иначе. Сказал лишь для того, чтобы его остроту повторяли по Петербургу», — определил Воронцов. Он четко разделял людей на полезных и пустых, и тут же мысленно вычеркнул Радищева из первого списка.

Радищев обернулся к Анне и сразу забыл о цезаре — Воронцове и ждал только момента, когда кончится эта надоевшая пауза и вновь заиграют музыканты.

Воронцов отдал должное и веселью. Прошелся по кругу в танце с хозяйкой дома Акилиной Павловной, затем попрощался и уехал. За ним постепенно начали разъезжаться гости. Радищев вдруг спохватился и, словно в страхе, что останется последним, лицом к лицу с Василием Кирилловичем, торопливо откланялся. Андрей Рубановский шел за ним, что-то говорил вслед, но Радищев слов его не слышал…

Западный ветер гнал длинную пологую волну, и тогда Нева приподнимала корабли у причалов, на рейде, и держала их так подолгу наверху, угрожала низким берегам широким разливом. Звонил тревожно колокол, предупреждал позаботиться о товарах, уложенных в погребах, амбалах, пакгаузах. Но стихия будто играла, ветер слабел, вода опадала, и Нева по-прежнему покойно и уверенно изливалась в Балтику.

На причалах остро пахло смолой, рыбой. Амбары задыхались от натиска пеньки. В пакгаузах груды ящиков источали восточные пряные ароматы.

Радищев медленно шел по пристани. С мелкосидящих судов, пришедших из Кронштадта, где стояли большие корабли,

разгружали товары португальские, голландские, венецианские. Около только что прибывшего галлиота Радищев задержался. С палубы ему приветливо замахал рукой владелец товара.

Радищев поднялся на палубу. Купец, изменив английской сдержанности, суетился перед таможенным чиновником.

— Сейчас позовем переводчика!

— Толмач не надобен, — отвечал Радищев по-английски.

— О! — обрадованно воскликнул купец. — Так мы лучше поймем друг друга!

Вильям Докс оказался доверенным лицом английской фирмы «Кромп». Привез из Ост-Индии бочки с гумадрагантом — со смолой: товар был ходким.

Докс пригласил Радищева в каюту. Там был накрыт стол, и бутылка виски царила над расставленными тарелками.

— Сырость проклятая! Совсем продрог, — Докс взялся за бутылку. — Не угодно ли рюмку, чтобы согреться?

— Нет, благодарю. Я ограничен временем.

— Извольте, приступим к делу. Но для начала вот эта безделка, которую просил вам передать мистер Кромп — мой хозяин.

И Докс положил перед Радищевым перстень.

— Я не имею обыкновения начинать дело с акциденции, — сказал Радищев.

— Отлично! — весело воскликнул Докс. — Пусть это будет приятным концом.

— Прошу вас изъясняться по существу. Покажите корабельное объявление о грузе.

— На борту 200 бочек гумми. Если не ошибаюсь, согласно тарифу 1766 года гумми идет в перечне красок. Значит, пошлина полагается два рубля десять копеек с пуда.

— Ошибаетесь, гумми нельзя уподобить краскам. Пошлина будет впятеро больше.

— А зачем нам именовать так? Напишем — краски, и дело с концом. Все равно как назвать кошку — лишь бы мяукала, ха-ха!

— Кошка не станет тигром, если ее переименовать.

Хитро придумал мошенник. Таможенная пошлина будет поменьше, разницу в оценке он не отдаст своим хозяевам, а положит в свой карман. Мистер Докс не скуп и готов поделиться с упрямым таможенником. Для почину перстенек.

— Господин Докс, покажите товар. Если там будет краска, напишем, как вы желаете…

Они пошли в трюм смотреть бочки. Повсюду в них лежала тяжелая клейкая масса гумми.

— Придется платить по нынешнему тарифу, о чем фирма

извещена давно.

Радищев кликнул писаря и сел писать реестр товару. Англичанин превратился в каменное изваяние. На писание реестра ушло около часа, за это время словоохотливый мистер Докс не проронил ни слова, только щурился на странного таможенника, который сам себя ограбил и не дал взять денег, плывущих прямо в руки.

— Ну, с богом! — удовлетворенно сказал по окончании дела Радищев и с интересом посмотрел на стол, уставленный закусками. Докс не шевельнулся. — Кошка останется кошкой.

Когда они с писарем сошли на причал, раздался крик. Англичанин стучал себя по лбу и указывал на Радищева:

— Чурбан! Дьявол!

Александр вежливо поклонился.

Он дернул колокольчик дважды. Долго не открывали. Он уже нетерпеливо повернулся, чтобы уйти, и дверь, та самая дверь, которая была гостеприимно распахнута во время бала, наконец со скрипом, неохотно отворилась. Швейцар сухо произнес:

— Просят пожаловать. Вас ждут в кабинете.

Радищев стремительно взбежал по лестнице. Сердце стучало, дыхание пресекалось — в доме было тихо, безлюдно, словно все затаилось в недобром ожидании. Он вошел в кабинет Василия Кирилловича. Хозяин дома неторопливо встал и разглядывал гостя строго, придирчиво.

— Я получил вашу просьбу о визите. Супруга, к сожалению, нездорова и поручила мне обсудить интересующие вас предметы.

От слова «предметы» веяло арктическим холодом. Радищев беспомощно молчал. Василий Кириллович вопросительно глянул:

— Я полагал бы…

— Да, да, извините… Я прошу руки вашей дочери.

Теперь замолчал Рубановский. Он навел справки о семье Радищева. У отца, Николая Афанасьевича, две тысячи душ: имение в Саратовской губернии, в Московской. Семь сыновей, четыре дочери. Не богаты, но и не бедны. Сын учился в Лейпциге, был среди лучших. Однако арабским скакуном не назовешь — рабочая лошадь, вечно будет везти пеньку да бочки с дегтем. Слишком старателен, далеко не уедет… Андрей, правда, с восторгом говорил о своем друге. Василий Кириллович начинал колебаться, но Анилина Павловна стояла на своем: партия слабая.

— Но Анна еще юна. Все мечтает, а ей надо осмотреться в жизни, — нерешительно заговорил Василий Кириллович, отлично понимая неубедительность довода. — Вероятно, и вам следует прочно стать на ноги. Ох, сколько забот требует семейная жизнь.

Куда вы, молодые, торопитесь. Когда я был холостяком, сколько я провел веселых дней. И в театре поигрывал, в пьесах Сумарокова.

Тут Василий Кириллович несколько осекся. В пьесе Сумарокова «Чудовищи» он играл роль ябедника Хабзея, за которого спесивые родители не хотели отдавать замуж свою дочь, предпочитая другого кандидата — щеголя, петиметра Дюлижа.

— Василий Кириллович, у меня теперь нет больше веселых дней!

— Напрасная унылость. — Василий Кириллович решил было обнадежить влюбленного, смотревшего печально, но спохватился, вспомнив о неуступчивой Анилине Павловне. — Александр Николаевич, — он принял официальный вид, — мы благодарны вам за лестное предложение. Нам необходимо подумать. Есть немаловажные препоны, для устранения которых потребно время. — Он остался доволен своей уклончивостью.

Радищев поднялся. Василий Кириллович несколько сжался под его прямым, ясным, неотступным, очень спокойным взглядом.

— Если вы не отдадите Анну Васильевну, я ее украду.

— Что?! Как вы смеете? Да вас под суд! — закричал Василий Кириллович. Александр стоял покорно, с опущенной головой. Рубановский заговорил тише: — Ну, глупости, глупости… Этак я вас прогоню, и дело на сем кончится. Вон какой молодец! Жизнь не бал, всех не перепрыгаешь! Терпи.

В амбарах, забитых пенькой, дышать было нечем. Едкая гниль висела в воздухе.

— Сил нет, надо разгружать амбары. — Секретарь таможни Захар Николаевич Посников кашлял и вытирал слезящиеся глаза.

— Гамбургский галлиот стоит пустым у причалов. Надо быстрее загружать немца. И Хрычову нора в Данию уходить. Браковку пеньки сделали? — Радищев обмахнул пыльное лицо платком.

— Делают, — замялся Посников.

Радищев глянул на секретаря. Глаза Посникова, мечтательные, грустные, туманились недосказанной мыслью.

— Отчего не закончили? Говорите.

— А что говорить, Александр Николаевич, — вздохнул Посников. — Опять нехорошо. Опять браковщиков ворами называют. Будто купец Хрычов дал им по нескольку золотых ефимков, и они его пеньку худым товаром записали, чтобы Хрычову поменее пошлину платить.

— Кто об этом толкует?

— Коллежский асессор Могильницкий.

Он помнил этого Могильницкого, аккуратного чиновника, который нес на своем лице выражение неподкупности и правдолюбия. Ах, каналья. Могильницкий — друг-приятель купца Прянишникова. А тот хочет обскакать Хрычова и уйти в Данию с пенькой первым да «Нептуне». Не потому ли Могильницкий распускает о браковщиках дурные сплетни, чтобы задержать Хрычова с товаром в порту?

С моря налетал упругий ветер, ласково обмывал горящее лицо. Мачты кораблей покачивались вразнобой. Посников одной рукой придерживал шляпу, другой прижимал под мышкой книгу с реестрами.

— Могильницкий не только слухи распускает, но и наветы сочиняет, — заговорил Радищев. — Вице-президент коллегии Беклемишев настроен против браковщиков. Им под суд идти. Самое малое — должности лишаться. С пустыми руками к Беклемишеву являться бесполезно. Будем сами проверять браковку.

— Александр Николаевич, это ж тысячи пудов пеньки, — тихо отозвался Посников. — Утонем в ней.

— Бог даст, выплывем. А может, и браковщиков вытянем.

Они выбрали длинный ряд амбаров, вытянувшийся вдоль реки, и разошлись в разные стороны.

Работа заняла весь день. Они щупали, тянули волокно, искали грубую кострику, снижавшую качество волокна, сверялись с документами, представленными браковщиками. Серые от пыли, утомленные, они сошлись наконец посредине амбарного ряда, взглянули друг на друга и рассмеялись.

— Вполне в огород можно пугалом ставить! — сказал Радищев. — Однако пусть Могильницкий страшится: мои наблюдения подтверждают невиновность браковщиков. А вы какого мнения?

— Упущений не нашел.

— Я так и полагал. — Радищев медленно отряхивал рукава. — Что ж, сейчас баня, а потом баталия с Беклемишевым.

Вице-президент Коммерц-коллегии был рассержен. Как? Виновность браковщиков уже доказана, коллегия решила их наказать, Воронцов тоже склоняется к наказанию, президенту остается только утвердить подготовленное решение. Господину Радищеву нужно сообразовываться с общим мнением, а не упорствовать попусту.

— Я прошу представить мои соображения Воронцову, — сказал Радищев. — Ежели это не будет сделано, я подаю в отставку и уезжаю в деревню. Обещаю в Петербург уже не возвращаться.

Беклемишев задохнулся от негодования:

— Вы слишком самонадеянны, сударь, и не уважаете мнения большинства!

— Человек не раб большинства, а друг истины.

Румяный коллежский асессор смотрел на него, вице-президента, спокойно, испытующе, как будто они поменялись чинами. Беклемишев произнес с некоторой угрозой:

— Извольте. Александр Романович разъяснит вам истину…

На следующий день Радищев был вызван к президенту Коммерц-коллегии. Секретарь ввел его в кабинет и велел обождать: утомленный делами, начатыми, как обычно, с раннего утра, Воронцов вышел на прогулку к Неве.

Радищев огляделся. Почти полкомнаты занимал массивный письменный стол. На нем бронзовый Вольтер морщил в язвительной усмешке губы, снизу, с портрета на золотой табакерке, преданно смотрела на великого насмешника Екатерина II — ценнее иного ордена была награда царской табакеркой. Драпировка из китайского шелка на стене могла бы показаться принадлежностью дамского будуара, но то был образец товара из далекого Китая. Другие образцы лежали на полках: пук пеньки, кусок мрамора, зерно в стеклянной вазе, корявый слиток чугуна на серебряном подносе.

Радищев всмотрелся в фамильный герб, висящий над дверью: две вздыбленные перед короной лошади, надпись под щитом: «Семпер иммота фидес» — «Верность всегда неколебимая»…

Дверь распахнулась, и вошел Воронцов, без улыбки протянул руку, мельком оглядывая коллежского асессора, который так щегольски танцевал, на балу у Рубановских.

Он сел за стол и взял в руки две бумаги: одна — решение коллегии, другая — ходатайство Радищева.

— Итак, кому верить? — спросил Воронцов и откинулся к спинке кресла.

— Верить не надо никому. Есть аргументы. Их мы нашли вместе с Посниковым во время ревизии.

Радищев придвинулся, готовый к спору. Но Воронцов коротко сказал:

— Я читал. Ваши доводы убедительны.

Лицо Радищева просветлело. По привычке поучать Воронцов хотел сделать несколько замечаний в упрек поведению Радищева, но раздумал. Хмурясь и сердясь на себя за то, что ему передается радость подчиненного, он заговорил резко и сухо:

— Заключение Коммерц-коллегии ошибочно. Оно зиждется на донесении Могильницкого. Факты искажены.

Он помедлил и прибавил тихо;

— Коммерц-коллегия поверила прохвосту.

Воронцов встал с кресла, подошел к окну. Слегка постучал пальцем по стеклу.

— Голландское. Отныне голландских стекол у нас не будет. Будут одни потемкинские. Князь Григорий Александрович Потемкин построил стекольную фабрику и теперь запрещает ввоз иностранного стекла, дабы доходы свои сберечь.

Воронцов повернулся к Радищеву. Обычно спокойное, твердое лицо его запылало:

— Бич России. Некоронованный владыка. Могильницкий — его холоп. Могильницкий поторопился отправить письма иностранным фирмам с отказом от ввоза стекла. Могильницкому предложу отставку. Но более я ничего не могу сделать, указ императрицы на днях поддержит нечистый потемкинский маневр.

Он взял со стола решение коллегии и разорвал:

— Браковщики остаются на своей должности… А вам, чтобы не скучать, надлежит разобраться в жалобе французских королевских судов. Они ждут погрузки и жалуются на задержку.

Он протянул бумагу и испытующе посмотрел на Радищева. Ему не терпелось составить ясное представление о подчиненном. Он боялся себе признаться, что ему начинает нравиться этот упрямец.

Василий Кириллович писал письмо наследнику престола. Не писать он не мог: невнимание начальства обижало, терзало его. Шутка ли: за десять лет ни благодарности, ни повышения в чине — они забыли о своем камер-фурьере, как об амбарной мыши. Но ничего, великий князь Павел Петрович им напомнит, что следует уважать неутомимых слуг отечества. Он был ласков с Рубановским и всегда расспрашивал знакомых о здоровье Василия Кирилловича.

Рубановский кликнул слугу, велел ему отнести конверт верному человеку, который должен передать письмо в руки наследнику. Исполнив долг, Василий Кириллович повеселел. Он вошел к дочерям и рассказал о послании. Но Анна и Лиза, как ни странно, восторга не выразили.

— Напрасно, батюшка, вы это сделали. — Чистые голубые глаза рябенькой Лизы глядели на него с недетским сочувствием и иронией.

— Отчего? — испуганно спросил Василий Кириллович.

— Оттого, что государыня не любит наследника и рассердится.

— Не чепуши! — растерянно воскликнул Василий

Кириллович. — Маленькая курочка — дурочка! Чепушок! Все ты знаешь, обо всем судишь.

Он ходил по комнате и сердито поглядывал на дочерей.

— Вот чин дадут и дела наладятся. И Анечкину судьбу устроим… если глупить не станет.

Анна оторвала глаза от рукоделия:

— Я сама, батюшка, свою судьбу устрою.

— А наша воля тебе нипочем? С Акилиной Павловной бы посоветовалась, она все-таки добрая женщина и мать тебе!

— Не мать, а мачеха, — поправила дочь. — Анилина Павловна спит и видит зятем камергера.

— Тому не бывать, — строго сказала Лиза.

Василий Кириллович ошеломленно уставился на младшую дочь. Лизины пальчики сновали по холсту, и четкий рисунок вырастал на глазах.

— Жаль, что в вашем Смольном институте вас не секут. Очень жаль, — с чувством сказал Василий Кириллович. — На горох бы тебя коленями поставить, как в мое время ставили. Завтра отпуск твой кончается, и я рад. Не будешь командовать в доме.

— Ведь скучно вам будет без меня, — сказала Лиза и вышла из комнаты.

Анна рассмеялась. Василий Кириллович начал убедительно говорить о том, что семейная жизнь без хорошего фундамента не получится, что, когда капризы ее пройдут, она поймет правоту суровой Анилины Павловны. Анна отрицательно качала головой.

Теперь Воронцов находил любой повод, чтобы вызвать Радищева.

— Говорят, надо опасаться людей, кои всегда правы, — сказал он однажды с улыбкой. — Но я вас не боюсь, потому что, — он с торжеством возвысил голос, — у браковщиков все-таки обнаружены кое-какие просчеты.

— Они случились из-за тесноты помещений, торопливости погрузки, — возразил Радищев. — Надо строить новые амбары.

— Оправдания сомнительны. Истинно добродетельный человек и в скверных обстоятельствах остается добродетельным.

— Если человек закрывает глаза на скверные обстоятельства, его нельзя назвать истинно добродетельным.

— Вы начитались Гельвеция. Я предпочитаю другого автора — Вольтера.

— Значит, вам нравится горькая насмешка над человечеством. Но в насмешке редко присутствует участие, и скептик плохой созидатель.

— Скептик пробуждает разум, освобождает от иллюзий. Я виделся с Вольтером несколько раз. Всеведущий человек! Как нам не хватает таких людей. Кем мы Россию заселяем? Везем побродяг всяких да учителей фехтования. Почитаем их великими людьми! В государстве слепых кривые царями считаются…

— И кривые тиранят слепых, которые их царями сделали.

— А как слепых зрячими сделать?

— Хотят ли слепые стать зрячими? — ответил Радищев вопросом на вопрос, и они засмеялись.

Между ними завязался разговор, быстрый, легкий, как будто они начали его вчера, а сегодня торопятся договорить, потому что тема казалась им злободневной и ее нельзя было отложить ни на час. Да и как отложить, если речь шла о вещах совершенно неотложных. О том, что все в мире как бы приходит на прежнюю ступень. О том, что христианское общество было вначале смиренно и кротко, а потом вознеслось и предалось суеверию, воздвигло начальника, и римский папа стал всесильным царем. О том, что явился Лютер, устроил раскол и ушел из-под власти папы. О том, что стало исчезать суеверие, истина полюбилась людям, но недолго торжествовала… Не стало ничего святого…

— Это дойдет до пределов возможного и вернется вспять — такая перемена мыслей предстоит нашему времени, — сказал Радищев.

Воронцов смотрел задумчиво:

— Странно, я думал вы — щеголь.

Дочь сидела в кресле неподвижно и не обернулась на звуки шагов. Василий Кириллович боялся этих припадков меланхолии, когда Анна замыкалась в себе и не отвечала на вопросы. «Опять остекленела», — тоскливо подумал Василий Кириллович и покашлял. Она продолжала упорно глядеть в окно.

— Аннушка, — осторожно начал Рубановский, — вот чего… Не нравится мне эта книжка, опасные умствования…

Она посмотрела на него молча. Пугаясь этого долгого «стеклянного» взгляда, Василий Кириллович заговорил сбивчиво, волнуясь:

— Конечно, ты скажешь, это перевод, не его слова. Но он ведь выбирал, что переводить, неспроста выбирал… И выбрал-то автора хитро: аббат Мабли — духовное лицо. Будто аббат благонамеренный, ничего злого сказать не может, а на самом деле в каждом слове яд. «Самодержавство есть наипротивнейшее человеческому существу состояние» — читаешь такое, и дрожь берет. О каком самодержавстве он говорит? Не о нашем ли российском? Ах, боже мой, лучше бы это и не читать! А дальше

еще хуже. Ну, вот, к примеру: «Мы делаем с обществом Безмолвный договор. Если он нарушен, то и мы освобождаемся от нашей обязанности…» Если государь нарушил закон, то есть договор, то, значит, и мы освобождаемся от наших обязанностей и тоже можем нарушить закон? Вот как загнул аббат! Или твой Радищев так перевел? Нет уж, Аннушка, я тебе скажу, нарушать мы ничего не должны, а пуще — божеский закон. Он всегда в нас и над нами. Нам терпеть надо, а не нарушать.

— Вот я и терплю вашу волю, — холодно проговорила Анна. — Терплю, а зачем? Мне жить не хочется…

Ноги у Рубановского ослабли. Он опустился на софу и тщательно стал вытирать платком лоб и шею.

— Ну, что ты в нем нашла? Чем он тебя опутал? — страдальчески протянул Василий Кириллович. — Ну танцует отменно. Но разве жизнь это танцы? Ну, красив, не спорю! Глазища, конечно. А что от глазищ-то проку? Что в них видится? Мечта одна! Смотрит на тебя и не замечает. Мудрствования одни в голове. На службе ретив, да! А почему не нажил прибытку? Другие уже каменные палаты за это время построили. А он? Шиш с маслом. Камзол весь в пыли, по амбарам носится — гордится, что казне большой доход приносит. А о себе подумал? Что в семью принесет?

— Граф Александр Романович Воронцов хочет его к ордену представить, — вдруг с улыбкой сказала Анна.

Василий Кириллович смешался: новость была неожиданной. Он проворчал:

— Ну, орден — эка невидаль! От него ни сыт, ни пьян не будешь.

— Но ведь и в чине повысят.

— А что чин? Тебе не с чином — с мужем жить! — разгорячился Василий Кириллович, но вспомнил о своем письме наследнику, махнул рукой и вышел.

Ответа от Павла Петровича не поступало. Шли дни, напрасно Василий Кириллович кидался к почтальону в ожидании ласкового письма. Молчание было угрожающим.

И вдруг однажды прибыл гонец с приглашением явиться к кабинет-министру Елагину.

Счастливый Василий Кириллович долго вертелся в день визита перед зеркалом, сдувал с камзола пылинки.

По поручению Воронцова Александр Николаевич отправился в поездку, чтобы представить доклад о податях Петербургской губернии.

Дорога мучила пылью, тряской. Но случались и награды за

муки: встречи неожиданные и удивительные.

Однажды в почтовой избе при станции он встретил стряпчего, регистратора разрядного архива, который собирал родословные многих российских дворянских родов. Стряпчий хотел сей труд выгодно продать благородным семьям, ибо слух носится, что те, кто докажет свое происхождение за двести или триста лет, будут награждены титулом маркиза и пред другими родами заимеют некоторое отличие. Регистратор глядел заискивающе. Александр Николаевич вздохнул: такая родословная, может быть, Рубановскому сгодилась бы, а ему, Радищеву, бесполезна. У Радищевых предки татарские мурзы, значит, звания маркиза не выкроишь. Ну а если кто и найдет в предках Рюриковичей, все равно вред большой происходит от труда усердного чиновника, ибо возрождает истребленное зло — хвастовство древней дворянской породой. Он протянул деньги регистратору и посоветовал использовать его труд для обклейки стен.

Вымощенная бревешками пыточная дорога, крики извозчиков, вранье почтовых комиссаров, божившихся, что нет лошадей, дурная еда на станциях — все эти временные муки сразу забывались, стоило ему увидеть живописную группу крестьянских девок, полоскавших белье на реке, или слепого гусляра, который пел песню «Как было во городе во Риме…», или странного мужика, пашущего ниву в воскресенье.

Он вылезал из кибитки, расспрашивал, слушал рассказы встречных и ехал дальше, пораженный, уязвленный увиденным, не замечая скверной дороги.

На одной из станций он повстречал курьера, который сломя голову по приказу Потемкина скакал издалека в Петербург за устрицами. Летел гонец, снабженный казенными деньгами, будто с важным поручением, потому что князь без устриц жить не мог, а за ревностное исполнение важного дела награждал чином.

На другой станции он слышал крики и плач. Шел публичный торг. Продавали недвижимое имущество разорившегося помещика и с ним его крепостных людей: старика семидесяти пяти лет, который на войне спас своего хозяина и вынес его, раненного, с поля сражения; старуху, которая была кормилицей молодого барина; молодицу, которую помещик осквернил насилием. Семью продавали поодиночке. Закон молчал.

На третьей станции он увидел старого лейпцигского приятеля Челищева, и тот рассказал о кораблекрушении в Балтийском море. Один из спасшихся добрался до берега, нашел берегового чиновника, просил спешной помощи. Но услышал в ответ холодное: «То не моя должность, не моя обязанность…»

Он записывал об увиденном в кожаную дорожную тетрадь.

Быстро полнилась тетрадь страшными, мучительными эпизодами.

И тут же он записывал цифры, бесконечные ряды цифр, которыми определял размер и виды сельских сборов. Так рождался обстоятельный доклад Воронцову «Записки о податях Петербургской губернии».

Александр Романович Воронцов открыл папку, ласково разгладил листы и вздохнул:

— У вас недурный почерк. Завидую. Почерк — моя душевная мука. Когда я учился во Франции, батюшка писал мне: «Это великая неучтивость так коверкать и марать слова. Присылай лучше чистую бумагу…»

Воронцов хотел принять официальный вид, но не получилось. По лицу продолжала бродить улыбка.

— Работа отменная: все виды податей разобраны с тщанием. Получил истинное удовольствие. Но вынужден укорить. Есть места, написанные неподобающим тоном.

Поморщился, посерьезнел.

— К примеру. «О вы, гордящиеся наукою вашей в способах обогатить земледелателя… Возгнушайтесь помышлять о прибытке, когда костистая рука глада тягчит плечи земледельца. Дайте ему работу, но с работою и плату…» Что это? Речь Цицерона. Обличительный тон негож для деловой записки.

Радищев молчал. Воронцов подождал немного и продолжал:

— «Исполнение запретительных законов основано на ненавистном в общежитии качестве сердца человеческого — на вероломстве; доносчик, полезный государству, обществом ненавидим».

Александр Романович задумчиво побарабанил по столу, удержал вздох.

— Далее. «Чем меньше наказания, тем народ прямодушнее…» Спорно. О рекрутском наборе вы толкуете как о зле, сокращающем народонаселение: «Какое множество воинов! Какое опустошение!» Мне нравится ваша искренность, но она наивна. И что скажет императрица, когда прочитает сей доклад?

Александр Романович слегка закинул назад голову и вопросительно посмотрел на Радищева. На строго очерченном волевом лице президента играла чуть заметная улыбка. Радищев молчал.

— Впрочем, не подумайте, что я против снижения налогов. Нет, я доказываю императрице и генерал-прокурору Вяземскому,

что умножение налогов устрашит людей, стеснить может рукоделие и свободу промыслов. Тут я с вами заодно. Но есть много позиций рискованных и спорных. «Чем меньше наказания, тем народ прямодушнее» — полагаю, это надо вычеркнуть.

— Нет, — вдруг поднял голову Радищев. В расширившихся зрачках его плеснулся огонь. — Эта мысль для меня бесспорна.

— И злодею Пугачеву вы бы стали уменьшать наказание, чтобы его превратить в овечку? — сухо осведомился Александр Романович.

— Отчего возник Пугачев? От крайностей крестьянского положения.

— Зверство в людях просыпается порою. Оттого и Пугачев возник.

— Согласиться не могу. — Радищев вскочил будто пронизанный током. — Вы слышали об убийстве помещиков в Зайцеве? Неужели крестьяне решились на крайность только оттого, что в них пробудилось зверство? Помещик посадил их на барщину, отнял земли, скотину скупил по цене, которую сам назначил, заставил работать на себя, сек розгами, а кормил на господском дворе. И бывало, наливал щи в корыто — хлебайте! Но и это терпели крестьяне. Когда же сын помещика насильно взял себе в наложницы молодую девку, то терпению пришел конец. Жених защищал честь невесты и ударил колом сына помещика. Жениха наказали палками. Битье он стерпел. Но не мог терпеть, когда невесту повели снова в дом к помещику. Он выхватил ее из рук насильников и попытался убежать. Но был остановлен. За него заступились крестьяне. Старик помещик подбежал к ним, стал бранить, а одного ударил палкой, да столь сильно, что тот упал на землю бесчувственным. И вот это было сигналом к общему наступлению. Крестьяне убили помещика и его сыновей. Можно ли их обвинять?

Теперь молчал Воронцов. Радищев кружил по кабинету, иногда хватал образцы товаров: кусок минерала, слиток железа, рассеянно крутил в руках, будто примеривал, оружие, клал на место, снова метался по комнате, и китайские драпировки на стене шевелились от ветра, вызванного его движениями по кабинету.

— А вот другая повесть, — быстро сказал Радищев. — Ваньке, крепостному слуге, некий дворянин дал образование столь же тонкое, как и своему сыну. На семнадцатом году старый барин посылает сына за границу вместе с Ванюшей и говорит ему на прощанье: «Ты раб в пределах сего государства, но вне оного ты свободен. Вернешься домой и своих цепей более не найдешь». Пять счастливых лет провели молодые люди в Европе.

Возвращаются в Россию. Увы, благодетель Ванюшин умер и не успел дать ему вольную. А молодой барин влюбился в изрядную лицом девицу, которая с красотою телесною соединяла скаредную душу и жестокое сердце. Надменная супруга вскоре превратила Ванюшу снова в холопа Ваньку, велела ему убираться из господских комнат. Но тем дело не кончилось. Племянник сей барыни, московский щеголь, влюбился в горничную и сделал ее матерью. Барыня племянника побранила слегка и решила прикрыть его грех насильной женитьбой, и Ваньку назначили в мужья горничной. Тот воспротивился. Его нещадно высекли и отдали в солдаты. Есть ли у него право выступить против своей участи?

Воронцов молчал. Радищев опустился в кресло.

— Прошу прощения. Я раскричался, как гусак, на которого замахнулись палкой.

— Жаль, что слова мои вам показались палкой. Мне почудился бунтовщик Катилина в некоторых фразах вашего доклада, и я хотел остановить Катилину.

— Я не Каталина. Я просто вспыльчивый таможенник.

— Таможенному чиновнику нельзя быть вспыльчивым. — Александр Романович ласково улыбнулся. — Однако ваш доклад я принужден задержать.

Воронцов посмотрел на Радищева виновато.

Василий Кириллович вошел к дочери и почти рухнул в кресло. Его глаза дико блуждали, и на расспросы он не отвечал. Анна кликнула слуг, терла отцу виски, делала холодные примочки, давала нюхать морскую соль — он казался бесчувственным.

Лишь спустя полчаса Василий Кириллович пришел в себя и стал рассказывать.

Нет, не о повышении в чин была эта повесть: кабинет-министр Елагин ледяным тоном принялся делать камер-фурьеру выговор. Как смел Василий Кириллович писать наследнику? Как смел сочинять изветы о своих мелких обидах? Наследнику стал жаловаться на невнимание государыни — не свидетельство ли сие его морального падения? Он мог обратиться прямо к государыне! Однако он предпочел путь заговорщика. Тайное злонамеренное письмо с попыткой поссорить мать с сыном! Императрица очень гневалась и приказала сделать ее именем крепкий выговор обнаглевшему камер-фурьеру…

Слезы текли по щекам старика.

— Анечка, это за мою беспорочную службу! Денно и нощно я стоял на посту. Ни единой помарки в журнале, ни одна блоха не

укрылась от меня. Все записано, минута в минуту, на века!

Он не мог успокоиться. Вскоре сердечные боли заставили его лечь в постель.

С той минуты деятельный Василий Кириллович потерял всякий вкус к жизни. Он безучастно лежал целыми днями, разговаривал неохотно и даже ничего не ответил, когда Анна Васильевна спросила, не будет ли он против, если они пригласят вечером известного композитора, скрипача и дирижера Пезибля.

Состояние его постепенно ухудшалось, и однажды он слабым голосом позвал жену и дочь и сказал:

— Пусть Анечка выходит за Радищева. Это перст судьбы. Я скоро умру и хочу, чтобы свадьбу сыграли скорее.

Акилина Павловна начала уверять, что это у него приступ меланхолии, что он скоро поправится и будет снова бодрым и веселым, но Василий Кириллович раздраженно махнул рукой:

— Делайте, как я велю.

Анна поцеловала отцу руку. Акилина Павловна, не терпящая обычно чужого мнения, на этот раз покорно согласилась.

…Венчали молодых в Москве, и свадебное торжество слилось с державным громом колоколов по случаю победы над Пугачевым. Победное торжество было долгим, свадебное вскоре оборвалось: умер Василий Кириллович.

ТЕРНОВОЕ КОЛЬЦО

Утро императрицы было хлопотным. Секретарь докладывал пункты о делах утомительных, а порой — тягостных и темных: о рожденной в муках «Жалованной грамоте дворянству», о лихоимстве Романа Ларионовича Воронцова, наместника Тамбовского, Владимирского, Пензенского, о происках британского премьера Питта, пытавшегося всячески насолить России.

«Жалованную грамоту» читала с напряжением, с сознанием исторического момента: дворянское сословие получало привилегии, о коих мечтало давно. Написала, что чувствует великую склонность чтить древние роды, уважает их права, понимает, что обязательная служба для дворянства будет обременительной, потому что служить с охотой надо. Она вздохнула: пусть не служат, коли не хотят… На робкое замечание Храповицкого, что дворяне сейчас ревностнее относятся к государственной службе, ибо просвещеннее стали, отозвалась ворчливо: «Все толкуете об учении, нигде — о нравах, кои нужнее учений».

От пестроты пунктов кружилась голова. Роман Ларионович Воронцов совсем меры не чует. Удивительные дела: Александр Романович — человек щепетильный, безупречно честный, а его отец — царь взяточников. «Роман — большой карман». Три губернии стонут. Она распорядилась послать ему в подарок длинный вязаный кошель. Небось, поймет лихоимец, что она знает о его проделках. И осталась довольна тонкостью своего хода…

Английские дела были полегче. Посол в Англии Семен Романович Воронцов, брат президента Коммерц-коллегии, прислал письмо, где рекомендовал держаться с англичанами неуступчиво. И она обрадовалась тому, что решение уже подготовлено и ей не надо ломать голову.

Утомительные заботы все на ней, все на ней… Надо скорее заняться делом приятным: «Проверить, что сделано в саду…»

Императрица вышла в сад и велела садовнику за ней не ходить: «Разберусь в упущениях самолично».

Прежде всего лужи. Ночью прошел дождь, и надо установить, есть ли лужи на дорожках, что было недопустимо. Особенно волновал изгиб на пути к турецкому шатру, там всегда при дожде разливалось целое озеро, и она однажды, идя краем, промочила ноги, после чего садовник сокрушался и просил прощения. Она смилостивилась, однако приказала, чтобы луж не было.

И луж не стало. Они яростно разгонялись метлой и засыпались песком, впадинки тщательно разравнивались. Но турецкий изгиб время от времени коварно намокал, и она шла сейчас в решимости покончить с этим раз и навсегда.

Место было сухо. Она со вниманием оглядела дорожку, не проступила ли где влага, но землю словно кто-то вылизал языком и высушил утюгом.

Затем подошла к деревьям, которые указывала отмывать от пыли мылом и мочалкой. Стволы были сухие, чистые, правда, не без упущений: на одном дереве она обнаружила кусочки несмытого прилипшего мыла.

Около памятника любимой собачке Земире она задержалась на минуту. Какие грустные и величественные были похороны Земиры! Надпись на черном мраморе гласила: «Здесь лежит Земира, и опечаленные Грации должны набросать цветов на ее могилу…»

Но жизнь не позволяла предаваться чувствам. Императрицу интересовал куст около шатра, который она приказала не подрезать, как это намеревался, сделать садовник. «У природы нельзя отнимать вольность, — назидательно говорила она садовнику. — Не надо делать куст шаром, пусть растет как заблагорассудится». Прелесть природы в ее необузданности. Ровность, стройность аллей угнетает душу. Деревья должны расти разбросанно и вольно. Она осмелилась даже не согласиться в этом со своим великим предшественником, чтимым ею Петром Первым, которому нравились регулярные парки, четко спланированные и выстроенные, как войска на параде. Нет, парк должен быть романтичен, природу нельзя стеснять жесткими рамками.

Куст был необузданно лохмат.

Вечером во дворце она вручала награды. Отличившиеся были людьми средних чинов, и потому она заготовила особенно ласковые слова, которыми нечасто баловала крупных вельмож. Гусарского полковника Чернецкого она спросит о детях, малороссийскому городничему Шпаку пообещает при случае заехать в гости, а ветерана турецких баталий артиллериста Курицына нежно обнимет. Но только его, никого больше, и фамилию Курицын она подчеркнула жирно.

Начало церемоний сошло как нельзя лучше. Отгремела торжественно музыка, зала наполнилась блеском свечей, запахом духов и помады, мерцанием красного бархата, шорохом лент, скрипом башмаков. Секретарь Храповицкий мужественно преодолевал волнение от страха перепутать заготовленные

ордена.

Александр Романович привычно стал в дальнем углу. Он поймал на себе взгляд государыни, в котором ясно читалось осуждение: в скромности президента Коммерц-коллегии прячется великая гордыня.

Воронцов оглядел группу таможенных чиновников, которые им были представлены к награде, и вздрогнул от неожиданности: с краю, близко от императрицы, стоял Могильницкий. Откуда он явился? Кем приглашен? Не иначе награды ждет. Кто же ему покровительствует? Тюрьма плачет по шельме, а он ордена ждет… Мнения Воронцова никто не спросил. Это было уже оскорблением.

Александр Романович всматривался в лица, пытаясь угадать, кто же так хитро и грубо нанес ему пощечину. Кто ходатай за Могильницкого? Потемкин? Весел, добродушен, всесилен. Он? Без злобы, без интриги, а просто так, за то, что вечно угождал ему Могильницкий, и попросил наградить холуя…

Потемкин скучающе водил по сторонам одним глазом и оживился, когда услышал имя Могильницкого… Он.

Могильницкий, приняв орден, опустился на колено и припал губами к нежной могущественной руке.

Храповицкий назвал имя Радищева. Александр Николаевич вышел вперед быстро, нервно, с замкнутым выражением лица. Он взял орден, поклоном поблагодарил и отошел в сторону.

Воронцов внутренне ахнул: поведение подчиненного было вызывающим. В зале на минуту стало тихо. Екатерина проводила Радищева долгим недоумевающим взглядом: странно, таможенный чиновник воспитывался когда-то в Пажеском корпусе, а поступил как неотесанный мужик. Истинный рыцарь должен был преклонить колено перед монархом.

Воронцов с трудом удерживал счастливую улыбку. Лицо Радищева горело. Потемкин мрачно буравил ослушника своим единственным глазом.

Грянула музыка, и Воронцов уже не таил улыбку: для него этот день был истинным праздником.

— Мой друг, что это значит? — говорила Екатерина Романовна Дашкова брату. — Такая бестактность!

— Устав сего не требует, Катенька, — отвечал Александр Романович. — Да и было бы унизительно стать на колено, как сделал за минуту до этого явный мошенник.

— Но вышла пощечина государыне, чья деятельность заслуживает только благодарности.

Воронцов откинулся на спинку кресла и прикрыл глаза.

— Только ли благодарности, Катя? — тихо спросил он.

Дашкова кинула на брата острый повелительный взгляд, силу которого она знала и которым пользовалась в особых случаях.

— Александр, ты полон такой неприязни… А государыня тебя ценит. Ты не можешь простить убийства Петра Третьего? Мы сделали с императрицей хорошую мирную революцию, а убийство царя — уже предприятие грязных Орловых. Екатерина здесь ни при чем.

— Сеня считает, что ее вина была.

Они заговорили о брате Семене Романовиче Воронцове, и Дашкова с раздражением сказала:

— Сеня — выдумщик. Теперь сидит в своей Англии, и ему представляется невесть что.

— Но именно тогда, в 1762 году, он, обнажив шпагу, бросился спасать Петра Третьего — один с группой единомышленников на целую роту солдат.

— Фантазер… Спасать полоумного царя — жалкого пьяницу.

— Прежде всего Сеня спасал свою честь.

Слова брата напомнили Дашковой о фамильном девизе: «Семпер иммота фидес» — «Верность всегда неколебимая», и Екатерина Романовна замолчала: такой приговор обжалованию не подлежал.

Это был разговор двух президентов: президента Коммерц-коллегии и президента Российской академии. Президент академии имела преимущество перед братом: она была приближенной к государыне особой, Воронцов держался на некотором отдалении.

— Бог с ними, с делами давно прошедшими, — мягко сказал Александр Романович. — Сердце болит за нынешнее. Фавориты сделали жизнь двора безумной. Потемкин посылает курьеров за тысячу верст, чтобы достать зимой землянику или свежего огурца.

— Виновата ли бедная женщина? Сначала разбойники, плебеи Орловы, теперь выскочка без роду, без племени Потемкин.

— Вот-вот, порок становится обычаем… И потому нрав Радищев, когда не надает на колени рядом с холопами фаворитов.

— Ты просто без памяти влюблен в своего Радищева.

— Я полюбил его только сегодня.

В тот вечер он долго не мог успокоиться. Ни болтовня старшего сына Василия, ни лепет маленькой дочери, ни ласка жены, ни просматривание бумаг не могли унять тревоги. Он сердился на себя: что за пустяк — придворная церемония. Но в

памяти стояло неотвязно: снисходительная усмешка Потемкина, тихий ропот в толпе придворных, окаменевшее лицо Могильницкого, удивление в глазах императрицы. Удивление и растерянность.

Это выражение растерянности мучило его. Своей демонстрацией он обидел женщину, которая, наверно, не виновата в том, что награждала мошенника. Сильные и наглые фавориты просто играют ее монаршей волей. Видит ли она эту игру? Хочет ли видеть? На лице государыни тогда застыла напряженно-ласковая улыбка, цепко и настороженно следила она за каждым движением и словом окружающих. Нет, она все понимает — обманываться нельзя.

Наконец он забылся сном, но спал как будто недолго. Он открыл глаза и удивился тому, что вокруг все изменилось странным образом. Исчез стол, книжный шкаф, стены кабинета словно раздвинулись. Помещение превратилось в обширную залу. Он увидел себя восседающим на каком-то возвышении. Он попытался ощупать место возвышения, но рука скользила, не ощущая твердого, хотя предметы вокруг и само седалище казалось сделанными из чистого золота и драгоценных камней. Он прикоснулся к голове: на ней лежал лавровый венец. Повсюду виделись знаки, изъявляющие власть: скипетр, покоящийся на снопах, отлитых из чистого золота, серебряный столп с изображениями морских и сухопутных сражений, каменный шар с крестом наверху — держава, поддерживаемая беломраморными младенцами. Стоящая вокруг в великолепных блистающих одеждах толпа жадно ловила его взоры, трепетно ждала его приказаний. Он понял, что может повелевать толпой: он — царь, он — король, он — султан, он — шах…

Он пошевелил ногой — и толпа насторожилась, он зевнул — и тревога проникла в людей, он чихнул, улыбнулся — и радость охватила всех. «Да здравствует наш великий государь! — послышались возгласы. — Он усмирил наших внешних и внутренних врагов, расширил пределы отечества! Он обогатил государство, укрепил внутреннюю и внешнюю торговлю, он любит науки и художества! Он милосерд, он правдив, он паче всех царей велик, он вольность дарует всем!»

Речи эти сладкой музыкой отдавались в нем, он окончательно уверовал в свое могущество. И тогда поднялся царь, король, султан, шах и начал говорить. Главному военачальнику он приказал идти с многочисленным войском на завоевание отдаленной земли. Учредителю плавания указал послать корабли во все страны мира. Хранителю законов повелел открыть темницы и выпустить преступников. Он распорядился воздвигнуть

великолепные здания для убежища муз, и первый зодчий назвал премудрыми его распоряжения. Клики и рукоплескания встречали каждое его слово. Бездумное единогласие и восторг угодливости овладели всеми…

Только одна женщина оставалась в сем собрании неподвижной. Черты лица ее были суровы, платье просто. Она приблизилась к тропу.

— Я — врач Прямовзора. Я послана к тебе и тебе подобным очистить зрение. Какие бельма!

Она коснулась его глаз и будто сняла застилающую их пелену.

— Я есмь Истина! Теперь все вещи представятся тебе в естественном виде. Ты познаешь верных твоих подданных, которые находятся вдали от тебя и которые не тебя знобят, а отечество. Они готовы на твое ниспровержение, если ты унизишь человека и отнимешь у него права. Но они не возмутят покоя общества напрасно и без пользы. Их призови себе в друзья. Изгони спесивую чернь, прикрывающую срам своей души позлащенными одеждами. Если из среды народной возникнет муж, порицающий дела твои, ведай, что это есть твой друг искренний. Не дерзай его казнить, как возмутителя спокойствия. Призови его, угости, как странника. Чтобы бдительность не усыплялась негою власти, дарю тебе терновое кольцо. Пока оно будет на твоей руке, ты все увидишь в истинном свете!

Прямовзора взяла его руку и надела кольцо.

Он огляделся вокруг и увидел себя стоящим в тике. Пальцы его были облеплены кусками человеческого мозга. Придворные кидали друг другу взоры, полные зависти, коварства, ненависти. Их одежды казались замаранными кровью, омоченными слезами.

И он увидел военачальника, посланного на завоевание земель. Одноглазый полководец не думал о сражениях, не заботился о своих воинах, почитая их за скотов, и жизнь его утопала в роскоши и беспрерывном веселии.

Корабли, назначенные исследовать мир, оставались без движения в порту, и лукавый флотоводец готовил фальшивые отчеты об открытии и покорении дальних земель.

Приказание выпустить преступников и вовсе не было исполнено.

Средства, отведенные для строительства великолепных зданий, расхищались.

Знаки почестей, раздаваемые владыкой, доставались недостойным, и никто не вознаграждал истинную честь.

Ярость овладела им… Он гневно крикнул, и придворные отшатнулись от него. Он поднял жезл, чтобы ударить, но тяжесть

сковала тело. Попытался шагнуть к толпе, и она вдруг стала колебаться, бледнеть, уплывать. Он оперся о трон, рука скользила по чему-то отвратительно скользкому. Он схватился за палец, но тернового кольца на нем не было…

Он пробудился от сильного сердцебиения. За окном мерцал зыбкий петербургский рассвет. Кабинет, диван, письменный стол с лежащим на нем орденом святого Владимира — все обретало привычные формы.

Ушедший сон явью стоял перед глазами. Он усмехнулся: о, если бы терновое кольцо пребывало на мизинце царей!

Француз был толст, неповоротлив. Он осторожно спустился по трапу и в нескольких шагах от Радищева снял шляпу и попытался поклониться. Но спина словно окаменела, не гнулась. «Опять жулик», — вздохнул Александр Николаевич и жестом пригласил француза к себе. Тот вошел в контору, тяжело дыша, вытирая лоб платком. Он торопливо начал говорить о том, что удивлен такой погодой и что располневшему человеку, конечно, трудно переносить влажность и духоту северной столицы.

— Соблаговолите раздеться, мсье. — Радищев улыбнулся вежливо и язвительно.

— О нет! Я уже привык к своей доле. Это тяжкий крест — ожирение.

Радищев слегка тронул француза за плечо и почувствовал, как каменно твердо его тело.

— Рекомендую, мсье, раздеться.

— О нет, пустяки, пустяки, — щебетал толстяк.

— Я очень рекомендую, мсье, — и Радищев быстро расстегнул две пуговицы на камзоле гостя. В прорези рубашки блеснул шелк.

— О нет! — в ужасе замахал руками француз.

— Раздевайтесь, иначе я позову слугу!

Француз сник. Медленно он стал снимать одежды и тогда открылось тело, перебинтованное лентами. Руки, ноги, грудь были укутаны многослойным шелком. С помощью слуги француза начали разматывать, и скоро он превратился в худенького тщедушного человека. Ожирения как не бывало.

— Видите, сколь полезным для вас оказался наш климат, — улыбнулся Радищев. — Подай-ка господину контрабандисту чаю! — крикнул он слуге.

Француз прихлебывал чай, смешанный со слезами: приходилось платить высокие пошлины и штраф за тайный провоз товара.

Александр Николаевич выходил из таможни с тягостным

чувством, какое всегда возникало после таких сцен. Что за странная судьба у него: охотиться за злом, которое потом принимает столь жалкий вид. Хотелось даже утешить этого нечистоплотного и несчастного торговца.

А судьба продолжала насмешничать. Дома у постели недавно родившей жены лежал сверток, только что присланный от купца Свиридова: младенцу «на зубок» — батистовые рубашечки, льняное белье и куча разных дорогих безделок. Купец Свиридов хотел дружить с упрямым таможенником.

Он выбежал из спальни и закричал с такой яростью, что дети испуганно попрятались. Догнать сейчас и вернуть купцу!

Тотчас к Свиридову был наряжен гонец со злополучным свертком.

Раздражение не проходило. Ему казалось, что домашние поддались купеческой уловке. Но в дверях показалась встревоженная Анна Васильевна, под ее мягким укоризненным взглядом он почувствовал в душе смирение.

«Ах, что это я? Крик поднял! Как будто мир рушится!» — корил он себя.

Но мелкие нечистые поступки людей вызывали в нем ощущение липкой паутины. В такие минуты он ничего другого не хотел, как смахнуть паутину, избавиться от ее клейких назойливых прикосновений. Лучшим средством успокоиться было бегство.

Он садился в коляску и скакал прочь из дома, к которому был так привязан, из таможни, где ощущал себя наиважнейшим лицом в государстве, из державного Петербурга, без которого уже не мыслил себе жизни…

Однажды он отправился в Новгород. Выйдя из коляски, стал на мосту через Волхов. Перед ним открывался вид на величественные монастыри вокруг города. История оживала в воображении. С нервной дрожью он всматривался в глубь реки. Оттуда словно выплывали картины… Вот тут на мосту стоял Иван Грозный с долбней — деревянным молотком — и обрушивал удары на непокорных новгородских старейшин. Вот тут тащили тела убитых и сбрасывали под лед. Гордый умный зверский властитель, какое право он имел подчинять себе Новгород? И что такое право, когда действует сила? Кто мертв или обезоружен, тот и виновен. Неужели это и есть основание права народного?

Чело надменное вознесши,
Схватив железный скипетр, царь,
На громном троне властно севши,

В народе зрит лишь подлу тварь…

В вечернем небе плыли звуки колокола. Стихи рождались сами собой…

Где я смеюсь, там все смеется,
Нахмурюсь грозно, все смятется…
Живешь тогда, велю коль жить!..

Новгородские мещане, проезжавшие по мосту, с удивлением оглядывались на одинокую фигуру, застывшую над рекой: самоубийца или разбойник, поджидающий свою жертву?..

— Отчего тебя так заботит Иван Грозный? — говорил Кутузов. — Он был зол и жесток от природы, и с этим ничего не поделаешь.

— Он не был жесток от природы, таким его сделали обстоятельства, — рассеянно отвечал Радищев.

— Вечно ты валишь на обстоятельства.

— А ты вечно примиряешься с ними.

Странно: казалось, они понимали друг друга с полуслова — «сочувственники», товарищи с Пажеского корпуса, с Лейпцига. Но как только заходила речь о далекой истории, взаимоотношения рушились. Кутузов смотрел на исторические перипетии снисходительно и сокрушался о человеческой несовершенной природе, Радищева вековая история обжигала, как сегодняшняя боль.

— Всякое внешнее зло не есть причина наших несчастий, а следствие зла, обитающего внутри нас, — внятно и убежденно сказал Кутузов.

Радищева словно подбросило, он схватил Кутузова за руку и судорожно потряс ее.

— Может быть, ты это скажешь и крестьянам, убившим в Зайцеве помещика? Если бы не было зла, обитающего в их душах, они бы не убили?..

— Если бы не было зла, обитающего в душе помещиков, не было бы совершено преступление, — отвечал Кутузов.

— А! Замечательно! Вот ты и опроверг сам себя. Если бы не было внешнего зла, не пробудилось бы и внутреннее зло в крестьянах, — закричал Радищев. — Крестьяне не свободны,

связаны крепью с помещиком — вот главное зло! Над ними совершено насилие — значит, они имеют право ответить насилием! Ну, вот представь: на меня нападает злодей. Он заносит надо мной кинжал. Ты назовешь меня убийцей, если я опережу злодея и нанесу ему удар, повергну его, бездыханного, к моим ногам?

Кутузов медленно поднялся: он как судия возвышался над Радищевым.

— Если ты способен убить, повергнешь злодея. Если не способен — не убьешь.

— Каждый человек в этом случае способен убить.

— Нет, уволь, не каждый. Отчего люди в одних и тех же обстоятельствах действуют по-разному? Ты мне историю про злодея рассказал, а я тебе другую. Вообрази, два разбойника нападают на одного прохожего, стараясь лишить его жизни, а затем ограбить. Но на их пути встретились трое гуляющих, и те повели себя по-разному. Один из гуляющих убежал, другой топтался в нерешительности, третий, не раздумывая, вступил в бой с грабителями. Отчего такое различие в поступках? Оттого что люди различны, и внешние обстоятельства по большей части невинны в том, что мы делаем.

Радищев отвечал другу мрачным взглядом:

— Были бы крестьяне свободны, не случилось бы злодейства.

— Освободить сразу буйную чернь — значит, пустить среди людей буйных медведей. Отними у крестьян грубость, просвети их души — и причины пороков исчезнут.

— Коль так пойдет, то и внукам нашим не видать мужиков свободными.

— Ты, Саша, нетерпеливец. А движение истории требует терпения.

— Где взять его, когда видишь кругом столь много несчастий? Ты отменно философствуешь. Но невиновность зайцевских крестьян — для меня математическая ясность.

Кутузов молчал.

— Молчишь. Воронцов тоже молчал, когда я ему рассказал об убийстве в Зайцеве.

— Ты бы об этом еще императрице поведал.

— Придет время — поведаю.

Они рассмеялись. Радищев позвал камердинера Петра Ивановича и приказал подать кофе. Кутузов напомнил, что им пора идти на заседание масонской ложи «Урании».

— Посидим лучше здесь — столько не виделись, — отвечал Радищев уклончиво.

Кутузов укоризненно глянул.

— Ты недавно принят в ложу и так небрежно относишься к нам.

— Какой ароматный кофе, — говорил Радищев. — Клади больше сахару. Все это вырастили американские рабы, оттого кофе так крепок. Он сдобрен потом и кровью рабов.

— Перестань. У меня отпадает охота пить этот кофе. Я спросил тебя о ложе «Урании».

Радищев прихлебывал черную жидкость с видимым удовольствием.

— Итак… — сказал Кутузов, не дотрагиваясь до своей чашки.

Радищев долго не отвечал. Затем решительно отодвинул кофе.

— Ты меня об «Урании» спрашиваешь, а у меня «Нептун» из головы нейдет. «Нептун», корабль, который без пошлины то и дело в Данию удирает. И о французе думаю, которого на днях разматывал. И о слепом певце, которого видел в Клину у почтового двора. Он пел песню об Алексее божьем человеке, сладостно, до слез пел. Но подаяние мое, рубль окаянный, не принял… а взял лишь шейный платок. С ним и положили слепца в гроб. Вот о нем думаю. А о вашей загадочной ложе не хочу думать. Игра сытых людей. Отчего прячетесь, отчего столько таинства в обрядах? Зачем шпаги, приставленные к обнаженной груди? Зачем клятвы во мраке? Зачем древние знаки, зачем все эти треугольники, циркули, молотки?

— Полно смеяться над масонскими знаками, они освящены древностью. Впрочем, вольному воля. Но когда ты будешь несчастлив, то вспомнишь о нашем братстве. Прощай!

— Алеша, погоди! — Радищев рванулся за другом, но тот стремительно вышел…

Удар был неожиданным и беспощадным. Еще вчера Анна Васильевна, оправившись от родов, была весела, ласкова с детьми, перешучивалась с сестрой Елизаветой, еще вчера в постели занималась вязанием, но сегодня все рухнуло.

Вдруг загремел пожарный колокол, словно возвещая о переломе судьбы, ударили в трещотки, люди побежали к огню. Анна Васильевна заметалась в страхе, что огонь перекинется к их дому и детей надо спасать.

Угроза вскоре отпала, огонь загасили. Но Анна Васильевна не могла успокоиться, состояние ее резко ухудшилось, вечером случилась горячка.

Утром пришел доктор и сказал, что «молоко бросилось в голову», что надо пустить кровь и пить успокоительные лекарства. Но никакие средства не помогали, болезнь

стремительно развивалась. Жар усиливался, сознание стало помрачаться.

За несколько часов до смерти Анна Васильевна велела привести к себе детей. «Прощайте, — сказала она. — Лиза вам будет матерью…»

Александр Николаевич то припадал к уже бездыханному телу жены, не веря случившемуся, то, плача, неистово ласкал детей, то уединялся в кабинете, начинал что-то писать, но тут же бросал перо и уходил на улицу. В доме появился Кутузов, с безмолвной преданностью помогал в скорбных хлопотах. Елизавета Васильевна распоряжалась по хозяйству, и домашние слушались ее тихих слов беспрекословно.

После похорон и поминок Радищев ушел в кабинет и долго не выходил оттуда. Встревоженная Елизавета Васильевна постучалась к нему, но ответа не услышала. Она отворила дверь. Радищев спал на диване одетым. Лицо его было спокойным. На столе лежали густо исписанные листы бумаги. На одном из них Елизавета Васильевна прочитала: «Уж больше нет отрад, да льются слезны реки…» Она положила лист на место и осторожно, на цыпочках вышла из комнаты.

Увековечить эпитафию в камне не разрешили. Близорукий священник, духовный цензор, долго и медленно вчитывался в текст, вздыхал и сокрушенно качал головой: «О если то не ложно, что мы по смерти будем жить…» Нехорошо, сударь, здесь наличествует сомнение в бессмертии души. И далее: «Но если то мечта, что сердцу льстит маня, и ненавистный рок отъял тебя навеки — уж больше нет отрад, да льются слезны реки». Опять «если» — злополучнейшее слово! Пропитано неверием. Божественными установлениями определено, что тело бренно, а душа бессмертна. Нет, сударь, мы не можем дать благословения на сей текст…" — "Возможно ли душе быть бессмертной при такой цензуре?" — без всякого выражения произнес Радищев.

Священник гневно уставился на просителя в ожидании дерзновенных слов, но лицо того было горестно-отрешенным, и цензор укоризненно покачал головой.

— Смирение, мой друг, смирение…

Каждый день приходил Кутузов, и это были отрадные вечера, когда они беседовали подолгу, вспоминая и не споря. Но стоило Кутузову снова заговорить о масонской ложе "Урании" и пригласить туда Радищева — Александр Николаевич взглянул прямо в доброе лицо друга, помедлил, поколебался, поискал необидных слов и, не найдя их, тихо и твердо сказал: "Нет".

За одной бедой пришла другая. Исчез Посников.

Последний раз его видели потерянно бредущим по набережной. Посников иногда останавливался, вглядывался в белую муть метели, неистовствовавшей над заснеженной рекой, придерживал шляпу и шел дальше. Странное упорство угадывалось в его кренящейся навстречу ветру фигуре. Набережная была пустынная, а он продирался сквозь белый слепящий вихрь, без устали, как будто надеялся увидеть что-то впереди.

Тело его пытались искать на реке, но безрезультатно. В кассе таможни вскоре обнаружили недостачу денег, которыми ведал Посников. Александр Николаевич был в отчаянии: Посников — аккуратнейший, честнейший секретарь — оказался вором, скрывшимся от судебного преследования.

Вскоре какой-то человек постучался вечером на крыльце, отдал торопливо конверт камердинеру Петру Ивановичу и тут же, не называя себя, скрылся. Радищев нетерпеливо, с ощущением беды разрезал конверт: нервным прыгающим почерком Посников сообщал о себе. Он писал, что достоин казни, что проиграл шулерам казенные деньги и по трусости скрылся от справедливого возмездия. Сейчас живет в Польше, но готов проигранное возвратить — все, до последней копейки, и честной службой вернуть доброе имя.

Покаяния блудного сына Радищев читал с облегчением. Тяжкая мука — потеря доверия к человеку, и вот надежда забрезжила… Он решил ответить Посникову сухо, сдержанно, что путь назад не закрыт и дальнейшее будет зависеть от его действий.

Потом пришли деньги от Посникова — половина недостающей суммы, и Радищев отправился к графу Воронцову.

Александр Николаевич прочитал письмо беглеца, рассказал о присланных деньгах. Радостная, почти детская нетерпеливая улыбка играла на лице Воронцова. Потом он будто спохватился, стер улыбку:

— Можно ли верить человеку, сделавшему однажды бесчестный поступок?

— Можно, — просто ответил Радищев. — Если человек страдает…

— Люди пользуются страданием как маской. При дворе этим искусством отменно владеют. Надобно видеть, как страдает и сама императрица, когда слышит о крестьянской бедности.

— За Посникова я поручусь. Вношу вторую часть недостающей суммы.

Воронцов глядел серьезно, без усмешки.

— Впрочем, карты — великая страсть, — сказал он со

вздохом. — В Мангейме при дворе курфюрста мы игрывали в карты и днем и вечером. Однажды меня пригласил сам курфюрст. Мне везло, я одолел курфюрста и на следующий день по правилам приличия обязан был дать ему удовлетворение — он жаждал отыграться. В тот момент в Мангейм приехал Вольтер — я мечтал беседовать со своим кумиром. Я уклонился от княжеской ласки. Курфюрст надулся: еще бы, русский боярин ведет себя неприлично. Но выше моих сил было поменять Вольтера на партию с провинциальным цезарем. И я весь вечер болтал с Вольтером, он был ласков со мной — блаженство! Мой каприз курфюрст мне не простил, больше меня не приглашали ко двору.

Воронцов несколько застеснялся простодушия своего рассказа, встал, прошелся по кабинету, глянул в окно.

Зимнее петербургское пространство было пустым и безрадостным.

— Вашего поручительства мне достаточно, — задумчиво продолжал Воронцов. — Протянем Посникову руку. Было бы страшно, если бы Могильницкие и Потемкины торжествовали.

Спустя два месяца пришло еще одно письмо от Посникова. Он просил о встрече с Радищевым.

В назначенный час Александр отправился в трактир на глухой окраине Петербурга. Заведение было безлюдно: хозяин дремал за стойкой у самовара да продрогший извозчик отогревался горячим сбитнем в углу.

Через полчаса ожидания дверь отворилась и в клубах пара появился человек, лицо которого было замотано шарфом. Он робко огляделся по сторонам, размотал шарф и приблизился к Радищеву. Это был Посников.

— Что же вы стоите! Садитесь, — сказал Радищев. — Дорога, знать, была дальняя.

— Александр Николаевич, Александр Николаевич… — голос Посникова дрожал. — Вы, вы… я никогда не забуду.

— Ну, полно, пейте чай.

— Я принес еще денег… Сто рублей.

— Спрячьте их. Я уже заплатил… Вернете потом.

— Александр Николаевич, — повторял Посников и вытирал слезы.

Успокоившись, он рассказал о своих скитаниях, о попытках достать деньги, о помощи родственницы, которая отдала ему семейные ценности, о своих душевных муках: как посмотрит в глаза людям.

— И все-таки вы не объяснили, как оказались в руках шулеров.

— Это наваждение, Александр Николаевич, наваждение. Я жил как заведенный. Каждый день счета, бумаги, ефимки, мошенники купцы. Каждый день. Душа отупляется, принижается. Ей нужно чего-то, что пронзило бы, всколыхнуло. И вот в одну скучную минуту явились они, веселые щеголи, словно освободить меня от забот. Играли азартно, я про все забыл… Совсем не заметил, что щеголи — просто подговоренные шулера. Купцам-то, дружкам Могильницкого, надо меня свалить, чтобы не мешал. А я, простак, поверил…

Лицо Посникова исказилось, он схватился за чашку и стал жадно прихлебывать остывший чай.

— Ну-ну, не мучайтесь, — сказал Радищев. — Путешествие окончилось — входите в спокойную бухту. Александр Романович на вас надеется.

— Благодарю.

Весной 1788 года открылась тщательно хранимая тайна: шведы решили начать военные действия против России с попыткой захватить Петербург. Шведский король Густав отдал приказ кораблям под командованием герцога Зюндерманландского атаковать русский флот и войти в устье Невы. Сам же Густав во главе сухопутных войск двинулся к Петербургу.

Известие о наступлении шведов застало Радищева дома. Он спрятал в потайной ящик листы, на которых выведенные твердым почерком уже лежали строки будущей книги "Путешествие из Петербурга в Москву", и вскрыл секретный пакет от Воронцова.

Александр Романович предлагал установить наблюдение за всеми кораблями, пересекающими Балтийское море. С каким грузом идет судно? Нет ли угроз купцам со стороны шведов? Не чинят ли шведы разбой? Не отбирают ли грузы? Что говорят иностранцы о численности шведского флота и его вооружения? У приезжающих пассажиров спрашивать, откуда они едут, какой нации, стараясь при этом узнать, нет ли между ними каких-либо сомнительных людей…

Через минуту Радищев уже мчался на извозчике в таможню, чтобы отдать распоряжения и вместе с Посниковым наметить на морской карте план разведывательных действий.

Жизнь стала лихорадочной, известия угрожающими. Шведский флот в числе двенадцати линейных кораблей под начальством герцога Зюндерманландского (русские матросы живо его переиначили в Сидора Ермолаича) развернул боевые порядки и приблизился к берегам России. Русские корабли, которыми командовал адмирал Грейг, вышли в море навстречу шведам —

около острова Голланд завязалось сражение. Обе стороны потеряли по кораблю, но "Сидор Ермолаич" был оттеснен и отступил к Свеаборгу.

Когда прошел слух о том, что сухопутная армия шведов приближается к Петербургу, Радищев сообщил Воронцову, что он собирает ополчение.

Уговоры людей, списки ополченцев, закупка амуниции, чистка оружия — военные хлопоты стерли с лица Радищева задумчивое мечтательное выражение. Он жил в напряжении, как солдат перед атакой.

Однажды рота ополченцев прошла перед зданиями двенадцати коллегий, и пораженный Воронцов из окна увидел решительно и твердо ступающего во главе колонны со всей воинской выправкой поклонника Гельвеция и аббата Мабли, коллежского советника Радищева.

Но не воинская слава ждала ополченца.

ТРОЕ

Помещение было забито книгами от пола до потолка, и Радищев не сразу заметил в углу у маленького оконца фигуру напряженно согнувшегося над столом человека, который, не обращая внимания на сутолоку в книжной лавке, делал выписки из толстых фолиантов, горок высившихся перед ним. Это был известный всему читающему Петербургу писатель Федор Васильевич Кречетов, основатель "Всенародно-вольно к благодействованию составляемого общества" и издатель журнала "Не все и не ничего", впрочем, из-за недоброжелательства Управы благочиния просуществовавшего не более двух номеров.

— С Платоном беседуете, Федор Васильевич? — негромко окликнул Кречетова Радищев.

Тот повернул голову, кольнул острым хмурым взглядом и ответил не сразу:

— Полагаю, для нас есть собеседники полезнее умного грека. Блакстон, например, "Истолкование английских законов". Всем российским невеждам читать надлежит, учиться мудрому законодательству.

— Но отчего в лавке работаете, а не дома? Ведь у князя Трубецкого — превосходная библиотека.

Кречетов потупился.

— Библиотека превосходная, однако князь человек степеней низких. Ушел я от него…

— Жаль.

— Ничуть. Глумления не прощаю. Нашел у меня слова: "Благоволите же благовнимательное человечество быть благоснисходительным". Князь визжит — чушь! Не понял высокородный осел, что здесь сгущение всей сути, выражено главное: человечеству должно быть благоснисходительным, преданным благу.

Радищев невольно улыбнулся, и эта улыбка была роковой.

— Однако, сударь, — нахмурился Кречетов, — и вам смешно? Потрудитесь в таком случае оставить меня в покое.

Молнии уже сверкали из-под насупленных бровей Кречетова, и Радищев вдруг с болью увидел всю эту страстную изломанную жизнь, отданную целиком безраздельно одной идее. Кречетов ссорился со всеми покровителями, у которых жил. Он писал письма императрице о создании народных школ, но не получал ответа. Он требовал, чтобы цензура не вмешивалась в издание его сочинений: он сам с помощью евангельских законов станет своим цензором. Он думал только о будущем, негодуя на настоящее и

презирая его.

— Федор Васильевич, не сердитесь, я виноват. Надо ли ссориться единомышленникам? Приходите в наше общество словесных наук, будем действовать вместе.

Кречетов смягчился. Он задумчиво покачал головой.

— Действовать? Пустяками занимаетесь. Приходите лучше вы к нам. Наше общество всенародное и направлено к благодействованию.

Он вдруг вскочил и поманил Радищева за собой. Они вышли из лавки на улицу.

— Фискалы, наушники кругом, а я сообщу вам великую тайну. Председателем нашего общества станет наследник престола Павел Петрович. Павел установит законы справедливости. К ним и государыня своим "Наказом" звала.

— Звала?.. Но взгляните на нынешние законы. Разве они образ божества на земле? Скорее это стоглавая гидра с челюстями, полными отрав.

— Экий вы мрачный. А глаза-то добром светятся…

— Федор Васильевич, сколько раз вы писали императрице?

— Трижды.

— И что получили в ответ?

Кречетов молчал.

— Надо ли обращаться к монархам? Надо ли биться об стенку?

— Соблаговолите разъяснить, к кому же обращаться?

— К людям, они услышат.

— Невеждам проповедовать вольность? Они ничего по услышат. Сначала грамоте невежд надо научить, а потом о вольности толковать. Пусть государыня пароду школы даст.

— Много ль она дала школ?

— Соглашусь, только по губам мажет. Но тут бояре мешают, казнокрады, воры. Ей, женщине, помочь надо.

— А кто нам поможет? — резко спросил Радищев.

Кречетов глянул удивленно:

— Вам, коню ретивому, помогать не надо. Сами доскачете…

От шутки подобрел и спросил озабоченно:

— А Степана Андреева из тюрьмы вызволили?

— Нет, увы.

— Значит, тоже об стенку бьетесь! — закричал торжествующе. — Легко поучать, легко. Вы не постигли сути вещей, — заговорил он с важностью пророка. — Жизнь — коловращение. Пока круга страданий не пройдешь — кольца не разорвешь. Причина всех превратностей мира зависит от кругообразного вида нашей планеты, от коловращения тел.

Он бросил эти странные слова, похожие на масонские бредоумствования, и отправился обратно в пыльное книжное вместилище выписывать мысли для поучения невежд.

Радищев смущенно смотрел вслед. Он не думал о круглом образе земли, о коловращении людей, о том, что нравственный мир человека напоминает колесо — его взволновали слова Кречетова о судьбе Степана Андреева.

— Приходили родственники Степана Андреева, — говорила Елизавета Васильевна. — Прошение принесли. Очень надеются.

— На меня надеются? — отозвался он горестно.

— На кого же еще им надеяться? — тихо сказала Елизавета Васильевна, и ее тон заставил его вздрогнуть. Голубоглазая Прямовзора глядела на него ясно и требовательно. Потом будто спохватилась: не слишком ли жестока в своей требовательности, и ее худощавое рябенькое лицо осветилось застенчивой улыбкой.

Радищев улыбнулся в ответ: она всегда снимала у него приступ малодушия. Странно, она ничем не напоминала свою покойную сестру. Анна была красива, величава и меланхолична, Лиза — дурнушка, но деятельна и остра.

Дурнушка… Оспа оставила на лице беспощадные следы. Но глаза… Ах, глаза — и нежные, и веселые, и прозрачно-бездонные, и неприступно-твердые…

— Кляузы. Шестой год кляузы. — Он рассеянно стал перебирать бумаги.

Она легким ласковым движением коснулась его руки.

— Я смотрела прошение. Мы не зря заставили его переписывать. Теперь все убедительно.

Она положила перед Радищевым бумаги — письма в Уголовную палату и Сенат. Он нежно поцеловал Лизины пальцы и склонился над листом.

…Дело досмотрщика таможни Степана Андреева тянулось шестой год. Сначала Степана подвел откупщик Дружинин, за которого он поручился. Откупщик смошенничал, и суд приговорил взыскать деньги с Андреева.

Деньги взыскали, но при этом была допущена судебная несправедливость. Когда Андреев возмутился, его обвинили в неповиновении начальству.

После хлопот Радищева Уголовная палата признала, что дело Андреева велось с ошибками и надлежит взыскать пени с неправедных судей: Михаила Пушкина, Ивана Лефебра, Ильи Котельникова.

Но в это время в доме Андреева случилось убийство одного из жильцов, и судьи, разобиженные строптивостью досмотрщика,

почти без следствия обвинили Андреева в убийстве. Он был лишен чипов и дворянства и приговорен к вечной каторге.

Радищев кинулся восстанавливать справедливость. Андреев давно уже гремел кандалами на Нерчинских заводах, а дело о полицейских чинах, нарушивших порядок следствия, все тянулось.

…Александр Николаевич просмотрел все бумаги и остался доволен. Доводы казались безупречными. Прошения направлялись в Уголовную палату и в Сенат.

Через час он входил к судье Ивану Лефебру, который так неохотно поднялся ему навстречу, будто пудовая тяжесть висела за плечами. И то надо понять: дело Андреева весомо, шкафы набиты папками с пометами 1784 года, 1785-го, 1789-го… Последней была дата: январь 1790 года.

— Опять? — спросил Лефебр безучастно.

— Опять.

— Доколе вы нас будете мучить?

— Доколе вы будете мучить невиновного.

— Мы внесли определение, и следователь от должности отрешен.

— Коли следователь отрешен, значит, и само дело следует пересмотреть.

— Не следует.

— Отчего?

— Оттого что вина Андреева доказана. Императрица подписала наш приговор. Кто же будет его отменять?

— Я полагаю, что суд руководствуется прежде всего законами. И монарх тоже подчиняется им.

— А я полагаю, что вам не следует ссориться с Уголовной палатой. Рекомендую взять ваше прошение назад.

— Я требую дать ход бумаге.

— Ход дать можно, но найдем ли выход?

— Дурная шутка, ведь речь идет о судьбе невинно пострадавшего человека.

— Если уж дело столько тянется, значит, вина есть.

— Умозаключение чудовищное и стыдное для судьи, — сказал Радищев и повернулся к двери.

Дома он достал из потайного ящика рукопись "Путешествия из Петербурга в Москву" и принялся за работу. В памяти неотвязно стояло суровое лицо Кречетова. "Вы тоже об стенку бьетесь?.." Он дописал главу "Спасская полесть", включил в нее историю невинно осужденного человека.

"Сначала грамоте научить человека", — кипел несогласием

Кречетов. А как научить, если мысль скована цензурой?

Он принялся за главу "Торжок". Перо летало… Цензура сделана нянькою рассудив. Но где есть нянька, где ходят на помочах, там у ребят кривые ноги получаются и разум незрелый. Он прибегнул к мнению Иоганна Готфрида Гердера, немецкого философа: "Наилучший способ поощрить доброе есть непрепятствие, дозволение, свобода в помышлениях… Книга, проходящая десять цензур прежде, нежели достигнет света, не есть книга, но поделка святой инквизиции… Чем государство основательнее в своих правилах, чем стройнее, светлее и тверже само по себе, тем менее оно может поколебаться от дуновения каждого мнения, от каждой насмешки разъяренного писателя, тем более благоволит оно к свободе мыслей и свободе писаний".

Как одобрение театральному сочинению дает публика, а не директор театра, так и выпускаемому в мир сочинению цензор не дает ни славы, ни бесславия… Занавес поднялся, взоры всех устремились на сцену: нравится — рукоплещут, не нравится — стучат и свищут. Оставим глупое слово на общее суждение: оно найдет тысячу добровольных цензоров. Негодующая публика мгновенно осудит дрянь мысли, как это не сделает ни одна полиция мира.

Остановиться было невозможно… Он взялся описывать историю цензуры. Еще в Древнем Риме цезарь Август велел сжечь две тысячи книг. Пример несообразности человеческого разума! Неужели, запрещая суеверные писания, властители сии думали, что суеверие истребится?

Но ни в Греции, ни в Риме нет примера, чтобы был избран судия мысли, который бы заранее клеймил сочинения. Судия мысли появился вместе с христианством, со святой инквизицией.

Он рассказал о преследовании монархами книгопечатания, о папских посланиях, грозящих карою за распространение учений, враждебных христианству, о бастильских темницах во Франции, где томились узники, дерзнувшие осуждать хищность министров и их распутство.

Но поразительны извивы человеческой истории. Ныне, когда во Франции все твердят о вольности, цензура там не уничтожена. Народное собрание, поступая столь же самодержавно, как доселе король французов, сочинителя книги отдало под суд за то, что дерзнул писать против народного собрания. Лафайет был исполнителем сего приговора. Видимо, таков закон природы: из мучительства рождается вольность, из вольности — рабство. Не этому ли закону следовал Кромвель, после казни короля Карла сам ставший деспотом и сокрушивший твердь свободы?

Он кончил работать поздно ночью. Голова горела… Он взял в

руки листы и задумался. Скоро нести рукопись в Управу благочиния — к нынешней судии мысли. Как она отнесется к его словам о цензуре? Вряд ли обрадуется, вряд ли пропустит…

Он отложил в сторону листы, на которых было записано "Краткое повествование о происхождении цензуры". Незачем дразнить гусей… Пусть в управе читают рукопись без "Краткого повествования". Поколебавшись, он изъял еще несколько сомнительных мест, в том числе включенную в главу "Тверь" оду "Вольность"…

Если будет возможность, он вернет оду в книгу. В Москве оду не стали печатать. Упрекали: много стихов топорной работы, — и с хитрой улыбкой добавляли: предмет стихов несвойственен нашей земле… Но пусть тогда книга вберет в себя эти грубые топорные стихи — отдельными строфами, осколками. Без модного блеска, но с угрюмой силой камня. Пусть цари смятутся от гласа народа. Грозно вещает народ, упрекая государя:

Но ты, забыв мне клятву данну,
Забыв, что я избрал тебя
Себе в утеху быть венчанну,
Возмнил, что ты господь, не я,
Мечом мои расторг уставы,
Безгласными поверг все правы,
Стыдиться истине велел,
Расчистил мерзостям дорогу,
Взывать стал не ко мне, но к богу,
А мной гнушаться восхотел.

Надо оставить строку о монархе: "Злодей, злодеев всех лютейший"… Другие пропустить многоточием… А эта пусть будет… Как взмах меча: "Умри! умри же ты стократ!.."

Он вспомнил слова Ушакова о Курции, когда написал, сопровождая стихи: "Упругая власть при издыхании приставит стражу к слову и соберет все свои силы, дабы последним махом раздавить возникающую вольность… Но человечество возревет в оковах и, направляемое надеждою свободы и неистребимым природы правом двинется… Тогда тяжелая власть

Развеется в одно мгновенье.
О день, избраннейший всех дней!

Гремящие строки оды разворачивались пропастью под ногами. Он шагнет, пришел его час…

На первом листе он написал посвящение — три буквы: А.М.К. Как не хватает сейчас старого друга Алексея Михайловича Кутузова… Впрочем, вряд ли Кутузов одобрил бы бунтарские мысли.

Теперь оставалось попросить верного человека, "сочувственника", прежнего домашнего учителя, а теперь надзирателя при таможне Александра Алексеевича Царевского переписать всю рукопись набело для утверждения в Управе благочиния и для набора.

Он не верил своим глазам. На титульном листе рукописи красовался властительный росчерк петербургского обер-полицмейстера Никиты Ивановича Рылеева: "Дозволяется". После осечки в Москве, когда цензор отказался дать разрешение печатать книгу, он уже не верил в успех дела. И вдруг такая удача!

Он осторожно провел рукой по листу, но подпись Рылеева не стерлась, не исчезла — она открывала новую жизнь. Книгопродавец Иоганн Мейснер, носивший рукопись в Управу благочиния, с улыбкой следил за безмолвным автором.

— Чье сочинение, спросили? — наконец произнес Радищев.

— Нет.

— Удивительно.

— Удивительно не это. Рылеев подмахнул не читая.

— Не читая?!

Это была вторая необыкновенная удача. Можно теперь внести изменения в текст, можно добавить новые главы: благословение управы прикроет авторский грех. Оду "Вольность" надо частями включить в главу "Тверь"… И о происхождении цензуры… И рассказ о любителе устриц, в котором узнают Потемкина… И письмо о свадьбе 78-летнего молодца барона Дурындина и 62-летней молодки госпожи Ш. На этом письме настаивала Елизавета Васильевна: в книге много серьезного, так пусть люди посмеются… Риск в таких бесцензурных включениях, но можно надеяться, что бестолковый Рылеев не заметит.

Он вышел к наборщикам. Посреди большой комнаты стоял печатный станок — уверенно упирался в пол толстыми ногами. С утробным вздохом, шлепками и поскрипыванием он словно нехотя отдавал в руки наборщиков листы с ровными рядами тиснутых строк. Радищев завороженно смотрел на типографское чудо: волнующее преображение хаоса мыслей в стройный и

страстный книжный порядок.

Царевский стал диктовать. Литеры выстраивались друг за другом с легким послушным щелканьем.

Оцепенение прошло. Он нетерпеливо следил за ловкими движениями рук рабочих — это были верные люди, все работники таможни, которых он знал уже давно.

Богомолов повернул ручку, надвинул доску с белым листом на черную рать буквенного набора. Станок удовлетворенно чмокнул, и Богомолов протянул оттиск Радищеву. Строки прыгали перед глазами, когда он читал слова, гудящие раскатно, торжественно, как колокол: "Я взглянул окрест — душа моя страданиями человечества уязвлена стала".

— Король переехал из Версаля в Париж. Парижане требуют низвергнуть короля. — Елизавета Васильевна держала в руках французский еженедельник.

Радищев схватил "Меркюр". Французы преподносят миру чудо. После падения Бастилии каждый минувший день кипит, сверкает, освежает июльским дождем. Он пробежал сообщения из бурного Парижа, и вдруг томительны стали кабинетная тишина, затворнически молчаливые корректурные листы на столе, сонное постукивание пролетки за окном, возня детей за стеной.

— Время движется сверкающей кометой, а я стою в болоте и пытаюсь выдрать ноги. Смешно, — горестно сказал он. Потом тревожно расширившимися глазами глянул в окно. — Почему так смутно на душе, Лиза? Казалось бы, все сделал, о чем думал давно.

Она подошла и с нежностью прижалась к нему.

— Просто пришел твой срок. И мне тревожно.

Он стоял уже счастливым, успокоенным, слегка опираясь на худенькое плечо жены, которую называл сестрой. Она вошла в его жизнь тихо, незаметно, и уже нельзя было представить дня без нее.

— Пойдем смотреть книги, — тихо произнес он.

Они вышли во двор и направились к сараю. Он снял замок и ступил в темное пространство, пахнущее клеем, бумагой, кожей… Две стены были заняты полками, плотно заставленными книгами. Шестьсот пятьдесят новорожденных — армия была готова к наступлению.

— Странно, — сказал Радищев, — они уже не в моей воле.

— Их нельзя сразу отпускать от себя. Отдадим Зотову часть. Надо послать Воронцову.

— Я ему еще ничего не говорил.

— Он же твой друг.

— Я не хотел ставить его в сомнительное положение. Выбор

сделал я сам. Один. И за все буду платить один… Но книги пошлю сегодня. Ему и другим…

Они отобрали пятьдесят штук и перенесли в дом. Послали за Зотовым.

Купец явился к вечеру. Бойко, заинтересованно оглядел стопки кпиг и принял равнодушный вид.

— Купят ли? Теперь все путешествия пишут. А это кто написал?

— Один московский житель.

Зотов полистал книгу и обеспокоился:

— А где же дозволение Управы благочиния?

— Сзади обозначено.

Зотов перевернул книгу, нашел на последней странице дозволение и спросил подозрительно:

— Зачем сзади, когда положено спереди, на титульном листе ставить?

— Опоздали мы. Тиснули титульный лист, а потом разрешение получили. Пришлось с тылу прикрыться, — с деланным вздохом сказал Радищев: не объяснять же купцу, что невыносимо было украшать парадный лист цензурным разрешением, пусть чертова помета ютится у черного хода, пусть читателям кажется, что книга без цензуры, при свободном книгопечатании издана.

— Ну, коли так, — согласился купец и кликнул слугу, чтобы отнес пятьдесят экземпляров в телегу.

Потом ворвался Вицман, всегда торопящийся куда-то, одержимый… Он схватил книгу, полистал, пришел в восторг и сразу обещал отправить в Германию, в старый, добрый Лейпциг, где друзья помогут перевести "Путешествие" и издать.

— Лучше расскажи о себе, — сказал Радищев.

Вицман стал рассказывать о своих злоключениях. К этому времени он основал воспитательный пансион, устроил курсы французского языка, экспериментальной физики, собирал библиотеку с бесплатным пользованием, открыл училище для крепостных ребят, писал труды по коммерции, издавал "Санкт-Петербургские еженедельные сочинения для поощрения домостроительства", выпускал сочинение "Собрание полезных способов для домашнего городского и сельского хозяйства", где давал читателям всевозможные советы, начиная от способов ловли грачей и галок до рассуждения, долго ли следует кормить младенцев грудью. Большинство предприятий лопалось, но он после неудачи одного тут же принимался за другое.

Радищев смеялся, потом загрустил.

— Вицман, если бы у меня было столько энергии, то…

Он запнулся. Толстый шумный Вицман прервал поток красноречия и негромко сказал:

— Тебе нельзя размениваться. Ты однолюб. Ты помнишь о каждой ране своей и чужой.

С утра мало кто заглядывал в книжную лавку. Зотов приуныл было: никто не интересовался "Путешествием". Однако к обеду прибыл дворецкий от купца Никиты Демидова и купил книгу.

Великое дело — почин. На следующий день являлись другие купцы, помельче, с порога спрашивали о новом сочинении неизвестного автора. Зотов, радуясь, клал экземпляр за экземпляром на прилавок и приговаривал:

— Лучше Стернова [4] путешествия. Не оторвешься…

Книгу он не читал, но восклицал убежденно.

Чем больше книг было продано, тем чаще забегали покупатели.

Полка почти опустела, и Зотов огорченно стал размышлять, как быть дальше. Его размышления прервал приход незнакомого мужичонки, назвавшегося приказчиком купца Сидельникова.

— А что, Герасим Кузьмич, не нужно ли тебе еще книг? — сказал приказчик и таинственно поманил пальцем.

Зотов обрадованно кинулся за мужичонкой, который вывел его на улицу к подводе и отдал за малую цену еще двадцать пять штук. "Хозяин в Москву отбывает, ему несподручно", — объяснил мужичонка и исчез вместе с своей подводой. "Где же я его видел, — думал Зотов, — не иначе, как на таможне".

Зотов надбавил цену, когда в лавку вошел щегольски одетый совсем юный господин.

— У тебя, сказывают, есть интересное сочинение Радищева?

— Нет, ваше благородие.

— Как нет, а это что? — Господин указал на полку.

— Неизвестного автора "Путешествие из Петербурга в Москву".

— Неизвестного? Его написал выпускник Пажеского корпуса Радищев. Мы собираем все достопамятные сочинения наших воспитанников. Ну-ка, изволь…

Господин жадно листал книгу, хмурился, светлел лицом.

— Ты, Зотов, в историю войдешь, — важно сказал покупатель. — Может быть, эту книгу сама государыня прочитает. Ты понял, Зотов?

Он поднял книгу торжественно, как чашу, на пальцах, подержал, взвесил и опустил ее на прилавок медленно, чтобы не расплескать:

— Заверни.

— Очень рады, ваше благородие, не смею знать вашего имени и чина…

— Камер-паж ее величества Александр Балашов, — бросил господин и с крепко зажатой под мышкой книгой вышел.

Зотова объяла лихорадка. Это ж такая удача. Человек от самой государыни. Надо еще достать, еще…

Он бросился к Радищеву на Грязную улицу просить еще сотенку-другую. Около дома он столкнулся со знакомым книгопродавцем Шнором.

— За книгами бежишь? — спросил Шнор с усмешкой. — А этого не желаешь? — Он сунул в физиономию Зотову кукиш и пошел восвояси.

Зотову кукиш мало что объяснил. Он догнал Шнора и допросил. Книги, приготовленные для продажи, оказались, по словам Шнора, раскраденными.

— Ах ты, беда какая, — сокрушенно качал головой Зотов. Он дождался, пока Шнор скроется за поворотом, и направился к радищевскому дому: "Врешь, тебе не дал, а мне даст".

Но Радищев развел руками: нет.

— Александр Николаевич, поскребите где-нибудь в чуланчике, — жалобно произнес Зотов. — Больно ходко идет… А нет — так тисните еще, все ж своя книга.

— А кто тебе сказал, что моя? — Он смотрел пристально. Зотов почувствовал некоторую дурноту. Все эти странные обстоятельства создавали какой-то мираж, зыбкий и пугающий. Радищев молчал, и из его бездонных глаз истекало нечто, повергавшее Зотова в ужас.

— Ну, коли так, то прошу прощения, — пробормотал купец и бросился прочь.

В лавке он стал снимать оставшиеся книги с полки, чтобы обождать и узнать о всех странностях, но не успел. Вошел пристав Лефебр и потребовал два экземпляра.

— Да, ведь как сказать… Не знаю, осталось ли что, — забормотал Зотов.

— Небось найдешь! — уверенно сказал пристав.

Зотов потерянно пошарил вокруг и нашел.

— Ну, вот и хорошо, это ты правильно сделал, что нашел, — снисходительно говорил пристав, листая книгу. — Так, дозволения управы нет, очень хорошо…

— Есть, — робко откликнулся Зотов. — С тылу гляньте.

Лефебр перевернул книгу и увидел дозволение.

— Отчего же оно в тыл закатилось? Ничего. Рылеев разберется.

Потом пришли два фискала, посмотрели, понюхали и

спросили совсем загадочно:

— А что, Герасим Кузьмич, был ли ты у духовника?

— У какого духовника? — еле слышно отозвался Зотов.

— У Шешковского.

Мороз прошел по спине Зотова, и он деревянным языком промолвил:

— Не знаю никакого Шешковского. Никогда не бывал.

— Врешь, дурак, был. Не мог не быть. Ну, если не был, так будешь.

И они уползли как крысы. Туман сгущался…

В июньские дни у нее всегда было превосходное настроение. Вспоминался июнь 1762 года, белая ночь, полная тревог и восторгов, страшная и радостная весть о гибели презираемого супруга, царя Петра III — весть, которая мгновенно была забыта в торжестве победы и коронации. Рядом красавцы офицеры, преданные ей, верная Екатерина Воронцова-Дашкова, душа июньского похода. Божественная молодость…

В один из таких светлых вечеров ей доложили, что камер-паж Балашов нижайше просит аудиенции для доклада о деле государственной важности. Она помнила его лицо — румяное, пышущее здоровьем лицо старательного юноши, который на высочайших обедах предупреждал каждое ее движение, успевал подать платок, веер, делал это ловко, и главное — бесшумно.

Он вбежал в ее комнату — как будто ворвался легкий свежий ветер. Он почтительно упал на колено, склонил голову и стоял до тех пор, пока она не приказала ему встать.

— Ваше величество, я осмелился просить о вашей благосклонности. Но дело необыкновенной важности.

Балашов словно исхудал, черты лица заострились, взгляд был суров. Видно, действительно его снедала тревога чрезвычайная.

— Ну, говори.

— Ваше величество, я лучше прочитаю.

Балашов торжественно поднял книгу, которую держал в руках, вынул закладку:

Возникнет рать повсюду бранна,
Надежда всех вооружит,
В крови мучителя венчанна,
Омыть свой стыд уж всяк спешит.
Меч остр, я зрю, везде сверкает,
В различных видах смерть летает,
Над гордою главой паря.

Ликуйте, склепанны народы,
Се право мщенное природы
На плаху возвело царя.

— Стихи прерываются замечаниями автора, — торопливо продолжал Балашов. — Вот одно: "И се глас вольности раздается во все концы". Далее сочинитель снова гремит: "На вече весь течет народ, престол чугунный разрушает, Самсон, как древле, сотрясает исполненный коварств чертог. Законом строит твердь природы. Велик, велик ты, дух свободы, зиждителен, как сам есть бог!"

— Что? Что ты мелешь, глупец! — вдруг зло закричала она.

Балашов побледнел.

— Ваше величество, это страшные, разнузданные строки. Я не мог не известить о них.

Она подошла, взяла из его рук книгу. Повертела. "Путешествие из Петербурга в Москву".

— Кто автор?

— Автор не обозначен. По Петербургу ходят слухи, что сочинитель — Радищев.

Она помягчела.

— Прости. Мне привиделось бог знает что… Я не поняла цели твоего прихода. Я благодарна… Тебя отметят… Иди.

— Я счастлив, ваше величество.

Он припал к ее руке.

— Иди же.

Она опустилась в кресло и стала читать.

Поначалу изложение показалось ей туманным, выспренним, скучным. Потом сцены пошли поживее. Они были нарисованы грубоватыми резкими красками, и она поморщилась: "Ну, как извозчик, повез-поехал… Будто в трактире находишься, где пьяные лакеи собрались".

Чтение главы "Любани" ее возмутило. Автор хочет доказать, что российский земледелец задавлен мучительством. Он не знает России… Лучше бы он путешествовал по Малороссии, он увидел бы счастливые села.

Примечание к главе "Чудово", где рассказывалось о бездушном начальнике, которого не осмелились разбудить, чтобы сообщить ему о кораблекрушении, привело ее в крайнее раздражение.

Сочинитель сравнивает российского чиновника с индийским властелином, которого слуги не осмеливаются потревожить во

время его сна, чтобы сообщить о страданиях военнопленных. Она схватила перо и записала: "Сравнение тут не идет. Да и спящего человека нельзя обвинять за то, что его не разбудили…"

Она глянула на часы. Было уже утро. Светлое, но безрадостное, почти неотличимое от серой июньской ночи.

Она вышла в комнату дежурного офицера и велела отметить, что после обеда нужно позвать обер-полицмейстера Рылеева и статс-секретаря Безбородко.

— Ах, оплошал Рылеев, оплошал! — рухнул в кресло петербургский обер-полицмейстер Никита Иванович Рылеев, когда от него ушел пристав Исай Лефебр. Пристав сообщил, что литеры, которыми делали оттиск, принадлежали книгопродавцу Шнору, а тот при допросе указал на начальника столичной таможни Радищева.

Выходит, проглядел безглазый, упустил из-под носа. Рылеев застонал от этой новой напасти. Старые зарубки от прежних промахов, от насмешек петербуржцев заныли, засвербили, заболели с новой силой.

А поводов для насмешек у горожан было немало. Однажды, ловя тайного агента Франции, будто посланного в Россию для убийства государыни, он схватил и по подозрению выпорол повара-француза. То-то позору было. И государыня изволила смеяться. Но чтобы загладить неловкость, прибавила повару жалованье.

В другой раз издал указ, по которому жители Петербурга должны были сообщать заблаговременно, у кого может произойти пожар. Опять горожане насмешничали.

Поэтому, когда приехал курьер от императрицы, Рылееву показалось, что жизнь окончена.

— Ты видел это? — Государыня холодно выбросила палец в сторону стола, на котором лежала одинокая книга. — Ты подписывал?

Пол качнулся под ногами бедного обер-полицмейстера, а книга между тем лежала спокойно и недвижимо на столике, и торчащая закладочка свидетельствовала о том, что сочинение читалось.

— Прости, матушка, — рухнул Рылеев на колени. — Прозевал, бестолковый. Не по злому умыслу — по глупости.

— По глупости, — удовлетворенно сказала государыня. — Если бы по злому умыслу, то тебя казнить следует. Кто же сочинитель?

— Радищев, матушка. Книгопродавец Шнор указывал.

— Радищев… Жаль. Мне он всегда казался милым и

старательным чиновником. Может быть, это ошибка, Рылеев? Потом ведь опять каяться будешь: совершил навет по глупости.

— Всех на ноги поставлю, все узнаю.

— Ну, гляди. А насчет Радищева сомнительно, в нем злобности нет.

— Матушка, пусть меня выпорют на съезжей, если не дознаюсь.

— Если не дознаешься, придется так и сделать, Никита Иванович.

Рылеев умчался спасать себя, а она снова принялась за книгу. Она читала главу "Спасская полесть", и ее тяжелые торжественные фразы завораживали, подавляли. Суровая речь Прямовзоры заставила Екатерину отбросить книгу. "Я есмь Истина", — вещает Прямовзора. Ишь, всяк хочет себе истину присвоить. Вдруг легкая, счастливая мысль озарила императрицу: поступок сочинителя весьма просто объясняется — он не имеет входа в царские чертоги. Оттого и завидует, оттого и злобствует.

Этот вывод несколько успокоил, и она встретила вошедшего члена Совета при императорском дворе гофмейстера Безбородко обычной безмятежной улыбкой.

— Что ж, Александр Андреевич, у тебя в государстве творится? Некие лица свободно проповедуют неповиновение и раскол. Угадай, кто?

Безбородко в бессилии развел руками.

— Под крылышком у твоего друга Воронцова укрылись: Радищев и Челищев. Лейпцигские друзья, громовые дети… Выучила в Европе на свою голову.

Безбородко снес этот укол с легкостью.

— Александр Романович никогда не поощрял раскол.

— Знаю о его доблестях. Я его люблю и уважаю. — Верхняя губа государыни вздернулась в злой гримасе. — Однако о симпатиях нам с тобой надлежит забыть, когда речь идет о государственных интересах.

Безбородко услышал металлические нотки в голосе государыни и отвечал тоже с железной решимостью:

— Для меня, ваше величество, государственные интересы превыше всего.

Она закрыла глаза, откинулась к спинке кресла и несчастным, жалобным топом тихо произнесла:

— Напиши Воронцову, успокой меня. Нельзя же так, чтобы свои люди и бесстыдство творили.

В тот же день Безбородко отправил с курьером письмо Воронцову: "Между тем достиг к Ея Величеству слух, что оная

книга сочинена господином коллежским советником Радищевым; почему прежде формального о том следствия, повелела мне сообщить вашему сиятельству, чтобы вы призвали пред себя помянутого Радищева и вопросили: он ли сочинитель или участник в составлении сей книги, кто ему в том способствовал, где он ее печатал…"

Александр Романович еще раз прочитал подчеркнутые Безбородко слова "чтобы призвали пред себя помянутого Радищева", и решительно поднялся… Нет, призывать к себе Радищева не будет, а сам поедет к нему.

Но едва он надел камзол, как явился новый гонец. Это было уже частное письмо Безбородко, написанное дружеским тоном: "Я весьма сожалею, что на ваше сиятельство столь неприятная налагается комиссия… Дело сие в весьма дурном положении. Хотя Ея Величество, узнав имя Радищева, кажется, более расположена умягчить свое негодование, но все, впрочем, не лучший конец оно иметь может".

…Воронцову открыл сам Радищев. Александр Романович увидел измученное посеревшее лицо подчиненного, и у него отпала всякая охота вести допрос. Около типографского станка он остановился:

— Отчего вы мне не сказали?

— Каждый должен сам нести свою поклажу.

— Значит, слухи не напрасны?

— Да, тиснуто здесь. — Радищев погладил станок. — Мне не отпереться. Могу, лишь надеяться на милость государыни.

— Слабая надежда. Все равно, что надеяться на порядочность Потемкина…

Они помолчали.

— Александр Николаевич, я впервые в жизни не знаю, что предпринять. Все зависит от настроений императрицы, и следствие тоже. Российский закон — настроение самодержицы.

— Обо всем этом я сказал в своей книге.

— Жаль, что мне не удалось прочитать многое, вами написанное. С некоторыми вашими мыслями я не согласен. Человек, побужденный к бунту, может стать зверем. Однако боль ваша мне понятна.

— Спасибо. Это лучшее для меня утешение.

— Вас ждёт обыск. Я бы мог взять оставшиеся экземпляры.

— Нет, пить чашу придется мне одному. Но если угодно, некоторые рукописи я хотел бы доверить вам.

…Воронцов уходил из дома на Грязной с тяжелым бумажным свертком.

Дома его ждало новое письмо от Безбородко: "Спешу

уведомить ваше сиятельство, что Ея Величеству угодно, чтобы вы уже господина Радищева ни о чем не спрашивали для того, что дело пошло уже формальным следствием…"

Внизу значилась дата: 27 июня 1790 года.

28 июня Зотова допрашивали в Управе благочиния.

— Ну, ну, рассказывай, как ты торгуешь скверными книгами? — говорил Рылеев, бегая по комнате вокруг стула, на котором был усажен для допроса Зотов.

— Ваше превосходительство, — степенно, с достоинством отвечал Зотов, — отродясь скверными книгами не торговал. А ежели "Путешественника в Москву" имеете в виду, то я слыхал, что сама императрица книгой интересуется, камер-паж Балашов мне об этом оказывал.

Все слова он произносил пустующему креслу обер-полицмейстера, потому что крутить головой за мятущимся начальником не подобало числящемуся на хорошем счету столичному купцу.

Рылеев озадаченно оборвал бег.

— Ну, ну, ты дуралей, Зотов. Не тебе судить об императрице. И книжку ты не читал, а умничаешь!

— Книжку я читал. — Зотов продолжал внушать креслу. — Ничего предосудительного не заметил. Да и навряд ли чего-нибудь противозаконное там есть, коли дозволено Управой благочиния.

Рылеев вперился в зотовский затылок, который покоился на крепкой основательной шее. Затылок излучал спокойствие, и Рылеев забежал вперед, чтобы глянуть в глупые глаза купчишки, "Ну и что! — хотелось крикнуть. — Что из того, что дозволено управой? Не читано и дозволено!" Но спохватился: не догадывается ли бестия о промахе начальства, и погрозил пальцем молодым, дерзким и как будто не таким уж глупым глазам Зотова.

— Расскажи, каналья, откуда получил книги?

— Сидельников, купец, дал.

— А где этот Сидельников живет?

— Не могу знать. Говорено, что в Москве…

— А известно тебе, где печатана книга?

— Никак не известно, ваше превосходительство. Литеры, похоже, книгопродавца Шнора.

— А! — закричал Рылеев и схватил пылинку, плавающую в воздухе. — Шнор! Знаю, его литеры. А тискали где? Где зловредный станок стоял?

— Не могу знать, ваше превосходительство.

Сколько Рылеев ни бегал вокруг туповатого купца, сколько ни называл его дуралеем, допрос не продвигался ни на йоту — все упиралось в какого-то мифического московского купца.

Решено было перенести следствие на завтрашний день, когда в Управу благочиния обещал прибыть сам начальник Тайной экспедиции Степан Иванович Шешковский.

Грустные глаза Шешковского, подернутые слезой, медленно ощупали Зотова, подержали его на весу, взвесили и, наполнив ужасом, опустили куда-то в темное небытие. Герасим Кузьмич замер перед начальником тайной полиции, как кролик перед удавом.

— По глупости, только по глупости своей не думал, что книга — противная правительству, — быстро с готовностью сказал он, когда Шешковский задал ему первый вопрос. — Да и цензура Управы благочиния выставлена.

— Цензура выставлена сзади, а должна быть спереди, — тихо произнес Шешковский и погладил суковатую палку, которую держал в руках. Зотов не сводил глаз с пальцев, поглаживающих палку и способных в любой миг поднять ее над его спиной. — Сия разница могла бы удостоверить и вразумить тебя, что книга есть пасквиль.

— Да, — слабо уронил Герасим Кузьмич, — я теперь и сам вижу, что книга неверная.

— Так, — удовлетворенно кивнул Шешковский, — а кто же сочинитель?

— Подлинно не знаю. Но люди сказывали, что печатана книга в типографии Радищева. Точно ли так, не знаю.

— А может быть, подослана она тебе тайным образом от Радищева?

— Может, подослана.

— А зачем бы ему подсылать? — засомневался Шешковский.

— Мог в сердцах послать!

— Ну а зачем в сердцах?

— Я награду имел за донос о скрываемых товарах, а Радищеву не поклонился за награду. По простоте своей не поклонился.

— Ну а книг ты у него просил?

— Просил, да прогнал он меня.

— А если мы Радищева спросим, уличишь его?

— Как прикажете, а я истинную правду говорю, — со слезами отвечал Зотов.

— Ну, хорошо, Герасим Кузьмич, ступай домой! Но не приведи бог рассказывать кому-либо, о чем мы сегодня с тобой

толковали.

— Много вам благодарны, — забормотал потрясенный милостью Зотов и упал на колени. — И типографщики у него, и наборщики свои — таможенники, досмотрщики…

Сна не было. Строчки книги навязчиво всплывали перед глазами, звучал предостерегающий сочувственный голос Воронцова, мелькали горящие любопытством лица купцов, спрашивающих книгу, возникали фигуры каких-то странных людей, снующих у дома. Явь и бред смешались в сознании, вызвали сердцебиение. Он спускал ноги с дивана и вслушивался в предрассветную тишину. Так было легче.

Он знал, что вместе с солнцем поднимется Царевский и примется за быструю спасительную работу. Надо было переписать ряд глав "Путешествия" одним и тем же почерком, чтобы текст выглядел единым, не подмененным после цензурного разрешения. Время, начиненное тревогой, мчалось с ужасающей быстротой, дня не хватало, Царевский падал от усталости, Радищев не сказал ему ни одного поторапливающего слова.

Он начал разбирать бумаги. Через несколько минут в дверь постучала Елизавета Васильевна: у нее было удивительное чутье, стоило Радищеву пошевелиться — она возникала рядом, тихая и преданная.

— Это надо бросить в печь. — Он положил руку на стопку отобранных бумаг.

Она молча взяла ее и пошла к двери.

— Но печь ведь сейчас не горит? — крикнул он, заподозрив ее хитрость.

Она повернулась к нему и отвечала твердо:

— Это плохая растопка. У нас есть чем разжигать печь.

Она улыбнулась ясно, открыто и понесла бумаги торжественно на вытянутых руках, как будто вносила их в грядущий век. Он хотел крикнуть, остановить ее, но промолчал, глядя вслед, как завороженный.

Потом послышались взволнованные голоса, в гостиной протопал кто-то тяжело и грубо, и в кабинет ввалился Семен, приказчик купца Зотова.

— Александр Николаевич, беда! Хозяина затаскали в Тайную экспедицию, сам Шешковский допрашивал.

— Пытали? — бледнея, спросил Радищев.

— Пытать не пытали, а только совсем худо, Александр Николаевич. Хозяин наказал передать вам: если будут вас допрашивать, продавали ли вы Зотову книгу, то скажите: нет, мол, не продавал, а книги из типографии пропали.

— Вздор. Если я так скажу, тогда станут таможенников пытать, не они ли украли. Выходит, я должен на своих друзей доносить. У твоего хозяина ум за разум зашел.

— И еще Герасим Кузьмич наказал, — неуверенно продолжал Семен, — чтобы вы говорили, что пятьдесят штук московскому купцу Сидельникову дали.

— Да кто поверит в московского купца! Нет, Семен, плохой ты посол! На тебе гривенник, выпей за мое здоровье, мне теперь скверно придется. Я не отопрусь, книга моя!

Семен убежал, а Радищев кликнул слугу Давида Фролова, велел открыть сарай и носить книги в дом, к печи. Елизавета Васильевна отошла в угол и безмолвно следила за тем, как Радищев открыл печную дверцу, взял книгу, положил ее на решетку и высек огнивом искру. Он поднес вспыхнувший трут к книге, и огонек, лизнув бумагу, погас. Радищев сидел с опущенной головой. Пропитанный селитрой трут трещал и дымился. Затем Радищев снова протянул руку, пламя весело охватило раскрытый, шевелящийся живыми страницами том. Радищев бросил в печь несколько экземпляров и быстро вышел. Давид Фролов продолжал казнь.

Радищев поднялся в кабинет и подошел к окну. По улице Грязной медленно катили повозки. При виде темной кареты с зашторенными окнами он невольно напрягся в ожидании: не за ним ли, — и вдруг, когда карета проехала мимо, почувствовал что-то, похожее на разочарование — пытка временем становилась невыносимой. С крыши, из труб на землю падал легкий черный пепел. Сгорала жизнь.

Она читала безотрывно. Было приказано никого не допускать вечерами. Открыла книгу на закладке, и первые же прочитанные фразы ее ударили. Прямовзора укоряла самодержавного владыку: "Ведай, что ты первейший в обществе можешь быть убийца, первейший разбойник, первейший предатель, первейший нарушитель общей тишины…"

Некоторое время подождала, пока пройдет волна обиды и бешенства. Потом четко, с нажимом написала как приговор: "Злость в злобном". Подумала и прибавила уверенно: "Во мне ее нет…"

Но раздражение вспыхнуло снова, когда она прочитала рассуждение автора о вольности. Хитер сочинитель: сначала будто с благожелательностью привел ее слова из "Наказа": "Вольностью должно называть то, что все одинаковым повинуются законам", а потом разразился бранью: "О законы! Премудрость ваша часто бывает только в вашем слоге. Не явное ли се вам

посмеяние?" Посмеяние! Над чем смеется он? Над тем, за что ее благословляет российский народ…

Не щадит сочинитель монархов. Вот и против Ивана Васильевича Грозного вопиет: "Какое право имел царь присвоять Новгород?" Нелепый вопрос… Это право дал ему российский закон, который наказывает бунтовщиков и от церкви отступников. "Новгород, приняв Унию, предался Польской республике. Следовательно, царь Иван казнил отступников и изменников…"

Она сделала запись и засомневалась, потому что жестокость царя Ивана, конечно, расходилась с ее представлениями о милосердии. Вздохнула и приписала: "…в чем, поистине сказать, меру не нашел". И осталась довольна тем, что сохранила беспристрастность оценки.

Фраза на 125-й странице еще больше доставила ей удовольствия: "Асессор произошел из самого низкого состояния…" Низкого! Каков сочинитель? Стало быть, и он не чужд аристократического высокомерия. Он не весьма тверд в своих правилах.

Уличив сочинителя, она дальше читала с хорошим настроением. Страницы с описанием убийства помещика крестьянами Екатерина помечала: "Оправдание убийства… французский яд… толк незаконный" — и решительно записала вывод: "Все сие рассуждение легко можно опровергнуть единым простым вопросом: ежели кто учинит зло, дает ли право другому творить наивящее зло? Ответ: конечно, нет. Закон дозволяет в оборону от смертного удара ударить, но доказание при этом требует, что иначе нельзя было избегнуть смерти…"

Иначе нельзя было избегнуть смерти. Перо споткнулось и упало, и она бессильно откинулась к спинке кресла. Воспоминание восемнадцатилетней давности обрушилось на императрицу и смяло стройность рассуждений. Ее супруг Петр III был убит, хотя никому не угрожал смертью. И многие — она знала! — обвиняют ее в его смерти. Прежде всего Воронцовы. На спесивом лице Александра Романовича всегда укор, всегда вопрос. Черт их побери! святые братья, ревнители чести! Но ведь не ее вина — гибель Петра! Не ее… Это своеволие Алексея Орлова. Он убил Петра. Но можно ли упрекнуть солдата, защищающего государство, спасающего всех от безумия самодержавного пьяницы? Орлов тоже имел право ударить, обороняясь от смертного удара. Если бы он не ударил, Петр его бы повесил. И не только его.

Довод показался ей убедительным и вернул душевное равновесие. Да, государственные интересы требовали крайней меры, как она ни горька. Разве можно сравнивать случай 1762

года с тем, о чем вопиет сочинитель? Конечно, случаи несравнимы…

Она схватила колокольчик и позвонила.

— Пригласите Зубова, — сказала сухо, резко, как будто спрашивала министра финансов.

Вошел Платон. Несколько мгновений она молча разглядывала своего любимца. Потом сказала строго:

— Платон, скажите, плохо ли живется нашим крестьянам?

Удивление мелькнуло на лице Зубова, но он отвечал с важностью:

— Лучше судьбы наших крестьян нет во всей вселенной.

— Замечательно, — кивнула Екатерина и добавила: — С той только оговоркой: у хорошего помещика.

Истину нельзя было упрощать, пусть она живет во всем объеме. Зубов с неясностью во взгляде принял монаршее уточнение.

— Я так и запишу на полях — лучше судьбы наших крестьян нет во всей вселенной. Жаль, что не могу указать имя автора — Зубова…

— Ваше величество, я бесконечно рад раствориться в ваших мыслях… Сочувствую вашим мукам. Но книга эта не действие одного лица. У него есть покровитель — Александр Романович Воронцов.

Она пристально посмотрела на него. Зубов не любит Воронцовых. Семен Романович, английский посол, прислал недавно секретное письмо с требованием отказаться от приглашения из Англии пушечных мастеров-литейщиков, на чем настаивал Платон Зубов. Семен Воронцов утверждал, что такое приглашение испортит и без того натянутые отношения между Англией и Россией. Взбешенный препятствием, Зубов назвал Воронцова "английским шпионом". Она тогда сказала ему, что темпераментные выражения уместны в иных обстоятельствах, в политике они не годятся, и Зубов прикусил язык. Но сейчас он уверенно называет второго брата — Александра Романовича — покровителем злобного писаки.

— Монарх не должен унижаться преследованием людей, которые приносят пользу отечеству.

Назидательный тон ее слов смутил Зубова, и он с подчеркнутой покорностью склонил голову.

Все книги сжечь не успели.

30 июня 1790 года, в девять часов пополудни, карета с зашторенными окнами остановилась у дома Радищева. Подполковник Горемыкин велел полицейским остаться внизу и

пошел в дом один. Дверь ему открыла Елизавета Васильевна. Горемыкин спросил, дома ли коллежский советник Александр Николаевич Радищев. Женщина не отвечала, глядела безмолвно и обреченно. Горемыкин повторил вопрос. Тогда из внутренних комнат стремительно вышел Радищев. Горемыкин вынул ордер и стал читать. Он не успел закончить. Елизавета Васильевна бросилась к бледному, бессильно оседающему Радищеву.

Горемыкин спрятал ордер и подошел к ним. Его встретили горящие глаза Рубановской.

— Нет уж, оставайтесь на своем месте. Мы не нуждаемся в вашей помощи!

Подполковник смущенно пожал плечами и отошел. Нашатырный спирт и вода сделали свое дело: обморок прошел. Радищев твердо и ясно взглянул на Горемыкина:

— Извольте. Я к вашим услугам.

Он обнял Елизавету Васильевну и сказал, чтобы детям пока ничего не говорили, он вернется, когда дело выяснится. "Дело выяснится", — повторил он механически. Никто не произнес больше ни слова, и в молчании Радищев спустился к карете.

Петропавловская крепость встретила его мертвой тишиной. Как будто не было рядом шумного города, как будто не кипели на другом берегу Невы порт и таможня обилием кораблей, торговой суетой. Железный лязг двери оборвал все звуки мира. Тяжелый каменный свод повис над головой, из маленького окна сочился жидкий свет белой ночи. "Слуш-а-ай!" — вдруг донесся унылый крик часовых.

Радищев испытывал странное облегчение. Кончились муки ожидания. То, что терзало неизвестностью, сложным сплетением различных обстоятельств, вдруг развязалось и упростилось до серой миски на столе, до грубой железной кровати, прикованной к стене. Он вытянулся на тощем соломенном матраце и сразу заснул.

Но утром пришло отчаяние. Он бросился к двери и стал стучать. Никто не откликнулся. Бессильно он опустился на кровать и застыл в бездумном оцепенении.

Через час в коридоре послышались шаги, загремела дверь, и на пороге появился офицер. Он не спеша рассмотрел арестанта и ласково улыбнулся:

— Степан Иванович просит вас к себе.

Государыня наставляла Шешковского.

— Дело непростое, Степан Иванович. Перед тобой не тать лесной, а сочинитель. Он о добродетелях пишет, а сам яд французский разливает. К убийству помещиков призывает, к неповиновению детей родителям. Бунтовщик хуже Пугачева!

Шешковский слушал снисходительно. Очень жаль, что государыня столь много к сердцу принимает — дело пустяковое, все распутаем, ничто не укроется. Но лицом выражал сочувствие и печаль.

— Скажи сочинителю, что прочитала его книгу от доски до доски. И усомнилась, не сделана ли ему от меня какая обида? Судить его не хочу, пока не выслушан… Хотя… — Она язвительно усмехнулась: — Хотя он судит царей, не выслушивая их оправдания. С редкой смелостью пишет. Вот послушай, Степан Иванович: "Скажи же, в чьей же голове может быть больше несообразностей, если не в царской!" Каково!

Печаль испарилась с лица Шешковского:

— За такие слова да на дыбу… как в старину бывало!

— Не горячись, Степан Иванович. Знаю — умеешь. Ценю. Но дело веди с холодной головой. Французскую заразу надо искоренять не русскими способами. Дубинушку свою в ход не пускай.

Шешковский глянул вбок. И про дубинушку матушка знает. Ничто не укроется… Много способов дознания есть, однако он любил самый верный, человеческий — порку. Тут уж изощрялся так, что и государыня не догадывалась. Однажды придумал кресло, которое проваливалось в люк вместе с подследственным. Но проваливалось не совсем — до половины. Наверху голову допрашивали вежливо, а внизу по тыльной части розгами прохаживались, отчего голова становилась умнее. Славный способ, государыне неизвестный.

— Матушка, положись на раба твоего. Ни один волос не упадет с головы сочинителя, А во всем откроется…

— Главное, Степан Иванович, сообщников открыть. Ну, иди с богом.

После Шешковского была приглашена Екатерина Романовна Дашкова, президент академии. Дашкова вошла быстро, с легкой насмешливой улыбкой, которая быстро погасла, когда Екатерина Романовна увидела хмурое лицо императрицы. Государыня решила обойтись со своей подругой построже:

— Жаль, что при вашем попустительстве выходят произведения, опасные для меня и для моей власти.

Дашкова закусила губу. На языке вертелось: "Не при моем попустительстве — при попустительстве брата…", но так говорить было нельзя, и она приняла покаянный вид:

— Я очень огорчена, что недоглядела. Прошу простить меня.

Дашкова приблизилась к императрице и смиренно поцеловала руку.

Императрица подошла к зеркалу, с тревогой коснулась

прически:

— Я так взволнована, что меня не успокоило сегодня даже волосочесание… Я делаю добро и для отдельных людей, и для всего народа. А что же они хотят творить у нас? Те же ужасы, что и во Франции?

— Россия — страна добрых людей. В ней нет таких безумцев.

— Однако есть, как видите.

Дашкова с беспокойством следила за передвижениями императрицы: вдруг повернется и уйдет с гневом, словно не было давней дружбы. Екатерина наконец села в кресло и после паузы сказала то, что Храповицкий должен был бы тут же занести в скрижали:

— Если государь — зло, то зло необходимое, без которого нет ни порядка, ни спокойствия.

— Эти мысли трогательно звучат в устах государыни, — с улыбкой отвечала Дашкова. — Но в ваше правление нельзя думать так.

Императрица, словно не слыша лести, продолжала:

— Я могу снести, что будут дурного обо мне говорить. Но никогда не прощу тех, кто хочет принести зло государству. — И добавила уже совсем другим тоном, будто речь шла о незначащем, как будто она и не сетовала на упущения подруги:

— Сказывают, книга Радищева — это его уже вторая публикация такого рода. А первая? И там он судит царей, не выслушивая их оправдания?

Дашкова подхватила тон собеседницы: о важном стала говорить небрежно, как о пустяках.

— Мне кажется, я знаю, что вы имеете в виду, мадам. Недавно Радищев напечатал жизнеописание одного из своих друзей — Федора Ушакова, который пил, ел, спал и умер, не совершив ничего примечательного. Пустая книга. Автор подражает Стерну, Клопштоку, не разобрался в них, путает в метафизике и, кажется, кончит тем, что сойдет с ума.

— От всех этих нелепостей я тоже сойду с ума, — с нарочитой зевотцей отвечала государыня. Она потянулась к колоде карт: — Ну, княгиня, в прошлый раз вы меня просто ограбили. Хочу отыграться в фараоне. Сейчас придет Безбородко — старый воин. Нам придется трудно.

И она с застывшей улыбкой стала задумчиво тасовать карты.

Камердинера Петра Ивановича Козлова нагружали свертками.

— Бархат вниз, на дно корзины положи, — наставляла Елизавета Васильевна. — А сверху сервиз, гляди, не побей —

китайский фарфор как-никак. Перстенек в кармане держи. Как примет все, тогда перстенек доставай. А это скажи, Степан Иванович, в знак вашей проницательности и беспристрастности. Понял?

Петр Иванович слушал внимательно, запоминал: дело ответственное.

— Понимаю… беспристрастности, — протянул нерешительно камердинер. — А ежели меня за взятку да в крепость?

— Не должно быть так, Петр Иванович. Я все проверяла, любит, душегуб, дары. Ему уж намекнули, он не против. Не бойся. А в конце скажи: "Благодарность наша неизбывная. Разрешите, ваша милость, еще прийти".

Петр Иванович покорно повторил наставление и побрел не оборачиваясь. Знал, что повернется и увидит: Елизавета Васильевна стоит в слезах.

После ареста Радищева она не давала себе воли горевать. Дни проходили в лихорадке: нужно узнать, берет ли взятки Шешковский, где достать денег, найти покупщика дачи на Петровском острове, успокоить детей, научить камердинера, как поднести дары.

Визит слуги к начальнику Тайной экспедиции закончился успешно. Козлов вернулся с лицом, на котором угадывалась уже не робость, а довольство собой.

— Что, принял? — допытывалась нетерпеливо Елизавета Васильевна.

— Принял, как не принять. — Камердинер немного важничал после чрезвычайной операции.

— Что сказал?

— Приказал кланяться. Все слава богу, говорит, благополучно. Он стоит на страже закона, и сверх закона никаких действий не допустит.

— Так и сказал?

— Так и сказал.

— Петр Иванович, миленький, — Елизавета Васильевна обнимала его, плача. — Ты сам не знаешь, что делаешь для меня!

— Ну что вы, право, все к сердцу принимаете.

Тихо стало в опальном доме. Дети старались не шуметь, а гости были теперь редки. Иногда приходили верные таможенники: Царевский, Богомолов. Да прибегал Вицман, горячился, предлагал разные проекты спасения Александра Николаевича, вплоть до устройства побега из крепости, но один проект перечеркивал другой и ни к чему, кроме мучительства, не приводил.

Когда уходили редкие друзья и когда хозяйство не требовало

забот, Елизавета Васильевна садилась за книгу. Но чтение не приносило утешения. Она раскрывала том Сумарокова с пьесой "Семира", вспоминала постановку в Смольном институте, где она играла главную роль, и со вздохом откладывала книгу. Драма Семиры никак не соответствовала ее нынешнему душевному состоянию. Семира, дочь киевского князя Оскольда, любила Ростислава, сына врага, и мучения ее объяснялись борьбой долга и чувства. Бывшая смолянка Рубановская не испытывала страданий Семиры. В своей любви к "врагу общества", в долге перед ним она не сомневалась.

Однажды приехал Воронцов. Она услышала стук колес тяжелой кареты, увидела из окна крупную фигуру президента Коммерц-коллегии и бросилась опрометью в прихожую ему навстречу.

— Ваше сиятельство, Александр Романович, что же ото вы! Зачем? К государственному преступнику! — Ее глаза горели благодарностью, а уста произносили иное: — На вас упадет тень.

Воронцов глянул холодно.

— Я приехал в семью друга, а не государственного преступника. В вашем состоянии извинительно так говорить… Хочу знать, чем способен помочь? Соблаговолите, Елизавета Васильевна, принять некоторую сумму денег.

— Нет, нет, у меня есть деньги. Мы ни в чем не нуждаемся.

— Елизавета Васильевна, напрасно вы…

— Нет, прошу вас, Александр Романович, уезжайте. Государыня на вас и так серчает, мне известно.

— Отношение государыни ко мне — мое личное дело. Оно мало беспокоит меня.

— Александр Романович, еще будут трудные времена. Понадобится ваша помощь. А сейчас… — Она пустилась на хитрость: — Сейчас ваше посещение может повредить Александру Николаевичу. Тайная экспедиция ищет сообщников.

Воронцов усмехнулся.

— Я его сообщник и этого николи не скрывал. Как не скрывал, что нынешнее правление стало безумным. Государыне, полагаю, известно о моих взглядах… Впрочем, извольте — уйду. Однако ласкаюсь надеждой, что через верных людей сумею передать Радищеву ваши ему наставления.

Рубановская отвечала медленно:

— Передайте, что он волен поступать как захочет. И пусть не думает о нас. Это ослабит его.

Воронцов склонил голову, подождал еще. Но Рубановская молчала.

— Я передам. Но вам к сему добавлю. Он должен думать о вас. А раскаяние облегчит его участь.

Государыня сказала: будь умереннее, Степан Иванович… Будь умереннее, Степан Иванович, напоминал китайский фарфор, принесенный радищевским слугой и стоящий теперь в гостиной на видном месте. О китайском фарфоре Шешковский давно

мечтал…

Пусть пойдет допрос как дружеская беседа. Он раскрыл книгу "Путешествие из Петербурга в Москву" с пометами и вопросами, подготовленными государыней, и велел ввести Радищева.

Он долго молча рассматривал арестанта и не начинал допроса. Радищев был бледен, небритость щек усугубляла впечатление изможденности и подавленности. Но взгляд был спокоен, и это не понравилось Степану Ивановичу. Он посмотрел на первый заготовленный вопрос — кем сочинена книга? — и ему стало скучно. Надо было огорошить арестанта, и он решил начать почти с конца, с пункта двадцать седьмого.

— Итак, вы обижены на нашу добрую государыню, — с чувством произнес Степан Иванович. — Какую же обиду она вам причинила?

Радищев вздрогнул от неожиданности. Вопрос сводил все сразу к какому-то нечистоплотному поступку, продиктованному мелким чувством.

— Высочайшая ее особа никогда и никакой обиды мне не причиняла. Тем досаднее, что я привел ее в гнев. Уповаю на ее человеколюбие, что она отпустит мои прегрешения.

Шешковский послушал, пожевал губами и кинул крест в сторону иконы: прости его прегрешения. Однако мгновенное покаяние арестанта убивало интерес дела, и Степан Иванович опять пустил в ход вопрос, которым хотел заключать следствие.

— Назовите своих сообщников.

— Сообщников не имел, — ровным голосом говорил Радищев. — Когда службу оканчивал, все больше дома бывал, домашним хозяйством занимался, а в свободные часы — сочинением книги.

— Мерзкой книги! — закричал Шешковский и вскочил. — Мерзкой!

Он забегал по комнате, наслаждаясь истерикой, и искал дубинку, забыв о своих намерениях не прибегать к чрезвычайным действиям.

— Мерзкой! Мерзкой! — он топал ногами, стучал кулаком по столу. — Мерзкой!

Лицо Радищева стало каменным. Он кивнул:

— Мерзкой.

— А! Вот! Пиши! — обрадованно кричал Шешковский писарю. — В свободные часы занимался сочинением сей мерзкой книги.

Степан Иванович опустился в кресло отдохнуть. Его лицо обволокло грустью.

— Ну, — сказал он кротко. — Зачем же ты сочинял мерзкую

книгу? Сочинял бы добрую. Какое у тебя было намерение?

— Главное намерение состояло в том, чтобы прослыть остроумным, дерзким писателем.

— И заслужить в публике лучшую репутацию, чем на самом деле, — с удовольствием продолжил Шешковский. — Ведь так?

— Так.

— Очень хорошо. Но можно усомниться в том, что это было твое главное намерение. В книге написано: "Свободы ожидать должно… от самой тяжести порабощения…" Что означают сии дерзкие слова? Не это ли твое главное намерение — побудить крестьян к бунту?

— Тут я разумел: если дворяне будут чрезмерно отягощать крестьян, высшая императорская власть их от оного отягощения избавит. Но написал сие без соображения…

— Надо было донести правительству о тягостях крестьянских, без гнусных выражений. А ты писал из единого хвастовства, так?

— Так.

— Это будет записано. Но тут требуется еще объяснение, потому что на странице 350 и далее ты поместил совершенно бунтовскую оду "Вольность", где царям грозят плахою и Кромвелев пример приведен с похвалою. В каком же смысле и кем ода сочинена?

— Ода сия почерпнута из других книг. Описаны там разные худые цари: Нерон, Калигула. Читая историю всех времен, я думал, что все царства менялись и переходили из хорошего в худое состояние, из худого в хорошее и, продолжившись так многие столетия, рушились. Всякое государство этому подвержено. Но какой здесь будет предел, одному богу известно. Николи не подразумевал благих государей, каковы были Тит, Троян, Марк Аврелий, Генрих Четвертый и какова есть в России ныне царствующая Екатерина.

— Державу которой многие миллионы народов благословляют, — подхватил Шешковский, осеняя себя крестом.

— Да, благословляют, — мертвенным голосом произнес Радищев.

— Хорошо… Ты видишь теперь, сколь много в оде пагубного, гнусного?

— Да, вижу.

Рука писаря летала по бумаге, вопросы и ответы выстраивались в четкую картину, свидетельствующую о полном раскаянии преступника.

Степан Иванович все ждал упорства Радищева. Тогда можно было бы в полной мере проявить свое искусство, но дело катилось по ровной дорожке, и надо было только подсказывать арестанту

нужные слова, о каких он по ненаходчивости сразу не догадывался. Шешковский был несколько разочарован, но утешался, что следствие идет без задержки, и императрица будет довольна, а Елизавете Васильевне можно сообщить что-то успокоительное. Подарки недурны, и надо быть верным обещаниям.

Оставался неясным вопрос о сообщниках, о чем особенно беспокоилась государыня.

Степан Иванович придвинулся к Радищеву:

— Ну, скажи, и я тебя отпущу отдыхать, скажи, — он доверительно зашептал, — кто вместе с тобой умышлял зло? Скажешь — и вина твоя уменьшится, поделится между сообщниками.

Глаза Радищева были как два бездонных омута, и Степан Иванович отодвинулся из боязни утонуть.

— Я был один. — Радищев тоже заговорил почти шепотом. — Понимаете, один. Хотя нет… Нас было трое… трое. — Шешковский насторожился. — Я, лист бумаги и перо.

Тишина могильная. Изредка по коридору раздавался топот шагов караула, и тут же все стихало. Муха билась об оконце, и он жадно глядел на ее суетливые бесконечные движения до тех пор, пока она не смирялась в безнадежности.

Он не двигался часами. В голову, освобожденную от суеты, шли потоком мысли, воспоминания, картины. Он наслаждался движением этого потока, удивляясь, как странно-легко, вольно думалось. Он попытался отвлечься, напрячь мышцы, приложить усилия на разрушение мысли, но радостно убеждался, что мысль продолжала жить, не подвластная насилию. Так и в большом мире: мысль подвергают гонению, а она живет. Разрушаются тела, а мысль вечна.

Он стал записывать продуманное на бумагу, и постепенно само собой возникло повествование о бессмертии человеческого разума и о милосердии.

Но потом возвращалось отчаяние. Оно обрушивалось на него вместе с думой о семье. Дети! Что будет с ними, лишенными отца и матери! Нет, мать у них есть, Елизавета Васильевна — самоотверженная, заботливая. Она передала с воли, чтобы он не думал о них, поступал, как знает. Она освобождала его от тревог, чтобы он не поддавался слабости. Но напрасна ее щедрость: когда он волен поступать по-своему, он поступает так, как велит долг.

Ради детей, ради милосердия Александр Николаевич твердо решил не уклоняться от ответов, не запираться, не фальшивить. Он попросил у Шешковского бумагу и стал записывать показания

собственноручно, не полагаясь на писаря. Они не расходились с показаниями на допросе, но некоторые выражения, которые ему навязывал Шешковский, он изменил и вместо "книга мерзкая" написал: книга пагубная. Рассказал подробно о всех обстоятельствах сочинения, сообщил и о подмене нескольких страниц после возвращения рукописи из Управы благочиния.

Он за все платил сам, и это давало ему право говорить не таясь.

И еще он надеялся на слово, не замаранное рукой писаря, не замутненное чиновничьим крючкотворством. Он писал о милосердии…

Александр Николаевич закончил показания седьмого июля, передал их караульному офицеру и стал ждать.

Снова нахлынули мысли о прошлом, и Радищев принялся за повествование о своей жизни в назидание детям. Он перенес действие в Грецию и Константинополь, поставив заголовок "Филарет милостивый".

Его герой учился на чужбине, в Афинах, упражнялся в Любомудрии, искал в жизни путь, осветленный деянием добра. Судьба его была переменчива, но при всех превращениях, убеждался Филарет, мир подвержен непременному правилу: "Тела небесные следуют по начертанному пути и от него не устраняются".

Он не устранялся от своего пути. Только одна картина прошлого заставляла его страдать: он вспоминал себя в Лейпциге стоящим с пистолетами у дверей, куда должен войти Бокум, и готовым послать пулю в деспота. Слава богу, обстоятельства помешали кровопролитию, и студенты упорным неповиновением Бокуму добились гораздо большего, чем это могли сделать пистолеты.

Не уклоняется ли он сейчас от своего пути? Он сказал Шешковскому о своем желании видеть крестьян свободными. Их может сделать свободными всемилостивейшая государыня — всякий добрый правитель, который не нарушает общественного договора и печется о благе сограждан. Ну а если судьбой людей распоряжается не добрый, а худой царь? Тогда люди должны вырвать державу из его рук… Под иезуитским взглядам Шешковского он не договорил до конца. Да и способен ли открыться до конца человек, стоящий перед инквизицией, которой не требуются доводы, а нужно покаяние. Галилей подчинился воле инквизиции, отрекся от своих доказательств о неподвижности Солнца, чтобы потом крикнуть слова правды.

В легком сумраке человек, лежащий в лодке, казался небрежно брошенным бесформенным мешком. Елизавета

Васильевна негромко позвала. Из лодки не отозвались.

— Я спущусь, — прошептал мальчик. Это был четырнадцатилетний старший сын Радищева Василий.

— Он испугается тебя. Лучше я, — ответила она ему.

Елизавета Васильевна подобрала длинную юбку и стала спускаться по оседающему песку к воде. Перевозчик спал, уложив голову на корму. Елизавета Васильевна бросила камешек в борт, и перевозчик приподнялся.

— Я уж думал, ты, барыня, не придешь. Ну, коли не боишься, садись. — Он помог Рубановской влезть в лодку и недовольно оглянулся на мальчика. — Ишь, защитника взяла с собой. О нем не договаривались.

— Я заплачу. Вези.

— Деньги вперед. Всяко бывает, инно часовой пальнет сдуру.

Елизавета Васильевна протянула деньги, и лодочник взялся за весла.

На середине Невы он огляделся и вздохнул:

— Светло, ровно днем. Такие дела надо в потемках делать.

Рубановская молча смотрела на приближающуюся Петропавловскую крепость. Шпиль над крепостью таял в белесом небе.

Под днищем лодки заскрежетало, по берегу бегом приближался офицер. Он помог Рубановской выбраться на мостки:

— О мальчике мне Степан Иванович не указывал. Пусть подождет здесь. А вы идите за мной.

Они прошли ворота, миновали несколько караульных будок. В длинном пустом крепостном дворе к Елизавете Васильевне подошел лохматый пес и доверчиво прижался к ноге. Эта ласка животного на какое-то мгновение успокоила ее, но в гулком коридоре каземата вместе с лязгом дверей тревога и волнение вернулись снова.

Наконец офицер остановился.

— Вот здесь. Через двадцать минут я приду за вами.

Дверь распахнулась. Навстречу Рубановской из угла комнаты поднимался Радищев.

— Саша, — еле слышно сказала она.

Он обнял ее, и время остановилось. Не существовало ни крепости, ни Шешковского, ни лодки, ждущей на берегу. Только двое были вместе, и весь мир в ту минуту вмещался в комнату с низким потолком и окном, упирающимся в глухую стену.

Радищев провел рукой по лицу, словно стирал остатки сладкого сна:

— Я готов сидеть здесь вечно, если ты будешь приходить

сюда.

— На такое Шешковский может решиться только один раз. Я продала дачу.

— Бедные, бедные… Я навлек на вас скорбь и нищету.

— Не мучься. У детей есть все.

— Кроме отца…

— Отец будет с ними, я верю. Я заменю им мать.

— Скоро суд. Меня будут судить те, коих я терзал делом Андреева.

— Куда бы тебя ни сослали, я буду с тобой.

— А дети?

— Младших я возьму с собой, а старших отправим в Архангельск, к брату Моисею Николаевичу.

— Скорее всего меня сошлют в Нерчинск, на каторгу, где сейчас страдает Андреев.

— Я верю в милость государыни.

— Больше не на что надеяться.

Он начал говорить о хозяйственных делах, торопливо давал советы, что продать, как расплатиться с долгами.

— Теперь я жалею, что жег книги, — вдруг глухо сказал он. — Я исчезну, но книги должны жить.

— Я спрятала несколько книг и отдаю людям переписывать.

— И оду "Вольность"?

— И оду.

— О ней особенно волнуюсь, В "Путешествии" я привел лишь часть ее. Пропадет остальное.

— Нет, я помню наизусть.

— И мне иногда ночами приходят на память строки. Слаб, грешен, честолюбив, но утешаюсь такими словами, — и он стал бормотать:

Да юноша, взалкавый славы,
Пришед на гроб мой обветшалый,
Дабы со чувствием вещал:
"Под игом власти, сей рожденный,
Нося оковы позлащенны,
Нам вольность первый прорицал".

— Не надо о гробе, — тихо попросила она.

— Шешковский намекал на смертную казнь.

— Нет! Нет! — Она обняла его. "Слуша-ай!" — тоскливый крик часовых пронесся над казематами. В коридоре раздались

шаги…

…Солнечные лучи брызнули из-за воспламенившегося горизонта и осветили посредине Невы одинокую лодку, в которой горестно прижались друг к другу женщина и мальчик.

Он стоял перед судьями и видел злорадство на их лицах. Михаил Пушкин, Иван Лефебр, Илья Котельников — это были те же люди, которые преследовали Степана Андреева и на решение которых он жаловался, требуя пересмотра дела. Тогда он судил их по мерке совести и закона, теперь судят они его без закона и совести. Да, без закона, потому что императрица говаривала, что никому не дано права преследовать человеческую мысль.

Судьи приказывали секретарю читать его книгу. И секретарь громким внятным голосом зачитывал отдельные места из "Путешествия", и по тону чтеца все уже ясно видели, сколь зловредно и пагубно направление книги, что сомневаться нечего и разбирательство лишь пустая трата времени.

Александр Николаевич вставал и подтверждал свою вину, потому что перед ним была инквизиция, потому что его судили люди, которые жаждали отомстить ему за былые унижения. Круг замкнулся, это было кольцо, из которого невозможно было вырваться.

Они приговорили его к смерти.

…В тот вечер, ужиная в камере, он почувствовал приступ отчаяния. Он сжал зубами серебряную ложку. Когда отхлынула черная тоска, он положил ложку на железный столик. На ней отпечатались глубокие следы зубов…

"Свершилося!"

Радищев писал завещание на следующий день спокойно и твердо. Надо было уйти из жизни, как уходил Катон.

Он написал детям о боге, которого они должны призывать, начиная всякое дело, дал им советы. Сделал распоряжения по дому. Велел Елизавете Васильевне войти во владение купленным им участком земли, просил родителей и брата Моисея Николаевича не оставить детей заботой, дать вольную некоторым слугам.

Он посоветовал Дарье Васильевне Рубановской, младшей сестре жены, выйти замуж, но при мысли о Елизавете Васильевне задержал руку. Им снова овладело отчаяние. "Зная весьма чувствительное сердце Елизаветы Васильевны и ее здоровье, я такого совета ей дать не могу", — приписал с трудом.

Перо спотыкалось. "Простите, мои возлюбленные… Я с вами

беседую… вас держу в объятиях моих, о друзья души моей! О дети моего сердца, вы со мною. Куда спешите, постойте… я… я отец ваш, я друг вам…"

Он не дописал и потерял сознание.

Приговор должен был утвердить Сенат. Почтенные мужи колебались: соглашаться ли на отсечение головы или проявить милосердие. Первое — жестоко, второе свойственно только государыне.

Сенаторы высказались расплывчато. По силе воинского устава 20-го артикула полагалось отсечение головы. По указу императрицы Елизаветы Петровны надлежит учинить жестокое наказание кнутом и, заклепав в кандалы, сослать на тяжелую работу. Но человека благородного звания нельзя подвергать сечению кнутом, не лишивши его дворянства. Вследствие сего полагается, не чиня ему оного наказания, лишить его чинов, орденов и дворянского достоинства, заклепать его в кандалы и сослать на каторжную работу в Нерчинск. Но более всего Сенат надеется на монаршее благоволение и ожидает высочайшего указа…

11 августа доклад Сената был представлен императрице.

Екатерина выслушала секретаря с приметной чувствительностью. Она отвернулась от Храповицкого и помрачнела. Нерешительность сенаторов, их туманные определения ее оскорбили. Стало быть, ей утверждать смертный приговор? Или быть милосердной? Но сенаторы царское благоволение опередили, намекнули на смягчение приговора.

Она приказала передать дело в Совет при императорском дворе.

После заседания государственного совета в протоколе, по предложению графа Безбородко, было записано: "…Ее Величество презирает все, что в зловредной его Радищева книге оскорбительного Особе Ея Величества сказано…"

"Сочинитель сей книги, поступая в противность своей присяги и должности, заслуживает наказание, законами предписанное…"

Опять не договорил Совет. Опять решать монарху.

Потянулись дни ожидания.

4 сентября Сенату был направлен высочайший указ.

Преступник достоин смертной казни. Но в связи с радостью по поводу вожделенного мира со Швецией освободить Радищева

от "лишения живота" и, отобрав чины, орден святого Владимира и дворянское достоинство, сослать его в Илимский острог на десятилетнее безысходное пребывание.

Елизавета Васильевна плакала. Полицейский чиновник, который объявил высочайшее повеление, тоже вытирал слезы и, вздыхая, утешал: "Сибирь — хорошая земля. И там люди живут".

В порту прибавилось иностранных кораблей. Мир со Швецией сделал Балтийское море свободным и безопасным для плавания.

Гремела музыка на столичных балах. По случаю мира раздавались ордена, отличившихся повышали в чинах — и все важные события записывались, как и прежде, в камер-фурьерский журнал и в дневник старательного Храповицкого.

Но одно событие, случившееся 18 сентября 1790 года, не было отмечено ни в журнале, ни в дневнике.

Холодным осенним днем из Петропавловской крепости выехала тюремная карета, которая везла государственного преступника Радищева в ссылку.

Он был одет в грязный нагольный тулуп, руки и ноги были скованы кандалами.

Так начиналось путешествие из Петербурга… в Илимск.

ВОЗОК С УСИЛЕННОЙ ОХРАНОЙ

Александр Романович Воронцов, по должности "постоянно присутствующий в Совете Ея Императорского Величества", мог быть доволен: сегодня в заседании государственного совета будет участвовать императрица. Последние заседания она пропускала, оправдываясь нездоровьем. Большинство членов совета понимающе кивали головами — что делать, стареет ее величество, но Александр Романович словно не желал понимать эти щепетильные обстоятельства и настаивал: императрице следует решать важнейшие дела вместе с ее главными помощниками. Члены совета отворачивались от Воронцова, снисходительно улыбались его наивным речам. Александр Романович сдерживал раздражение: здоровья государыни хватало на разнообразные развлечения, государственные же дела вызывали недомогание.

Но сегодня Воронцову был сделан подарок. Екатерина вошла, держась по-молодому прямо, и одарила Совет лучезарной улыбкой. Увядшие сановники зашевелились, зашелестели бумагами. Граф Безбородко доложил о том, как выполняются условия мира со Швецией, об оживлении торговли с иностранными державами, о бюджете Академии наук, увеличения которого требовала неугомонная Дашкова.

Решалось все быстро, императрица молча в согласии наклоняла голову. Но Безбородко вскользь упомянул о необходимости укреплять южные границы, и Екатерина вытянула из голубого конверта листок:

— Князь Григорий Александрович Потемкин просит денег для переселения запорожских казаков на новые земли, отвоеванные у крымского хана.

Члены Совета закивали, но Александр Романович запротестовал:

— На южных землях армия стоит и оборону держит. Казаки там не нужны. Снимать их с родных мест неполезно. Перемещение людей не приносит благо, от хозяйства их отучает. А денег в казне и так не хватает. Печатаем ассигнаций больше, чем следует.

Сказал — словно туча закрыла свет в окне. Екатерина оглядывала притихших государственных мужей.

— Александр Андреевич найдет деньги. Поскребет на донышке…

Безбородко вздохнул:

— Донышко еле прикрыто. Казна пуста, матушка.

— Отчего же она пуста, граф? У хорошего хозяина всегда в кубышке найдется.

Совет молчал, и Екатерина твердым голосом заключила:

— Просьбу Григория Александровича надо уважить. Ему в Крыму виднее.

Она слегка прихлопнула по голубому конверту, как по делу решенному. Вдруг послышался голос Воронцова.

— Мы, ваше величество, не чучела. Нам тоже видно. Иначе зачем нас здесь посадили.

На мгновение государыня онемела, но потом отвечала с обычным спокойствием:

— Ты, Александр Романович, чучелом никогда не был. Это мне известно. Ценю тебя и других за то, что не чучела. Но о южных границах тоже надо подумать. А сейчас отдохнем немного и послушаем Воронцова о делах Коммерц-коллегии.

Она встала и вышла. Воронцов сидел озадаченный: уговора не было сегодня докладывать о Коммерц-коллегии. Это был ее ответный выпад, быстрый и точный, рассчитанный на смущение президента коллегии.

Князь Волконский приблизился к Воронцову и сказал не то сочувственно, не то злорадно:

— Государыня у нас мудрая.

Александр Романович оглядел князя — седовласого, хитрого бестию — и бросил ответно:

— Мудреная.

После перерыва он обстоятельно докладывал о торговых делах. Екатерина кивала подчеркнуто любезно, а по окончании доклада с улыбкой заметила:

— Ну вот, Александр Романович, теперь уж точно видно, что ты не чучело. Деятельность Коммерц-коллегии препохвальна. Полагаю, что замирение со Швецией даст тебе новые силы.

Воронцов был несколько растерян. Ее любезность обезоружила его. И он решил больше не спорить с ней о запорожских казаках, оставя место для темы мучительной и неотложной: о Радищеве. Она о чем-то догадывалась по его просящему взгляду и велела ему не уходить.

— Ну что, Александр Романович? — сказала Екатерина, когда они остались вдвоем. — Чай, бранить меня собрался?

— Не бранить — просить.

— О чем же?

— Государственного преступника Радищева везут в кандалах, как последнего негодяя и жестокого убийцу. Он полон раскаяния за им содеянное. Милосердие велит облегчить его участь. Нужно снять железы, мерзкий нагольный тулуп и дать ему приличную

одежду. Это моя нижайшая просьба, ваше величество.

Она смотрела на него долго, без улыбки и отвечала медленно:

— Что ж, пусть снимут железы… Но отчего тебя, Александр Романович, так заботит дерзкий сочинитель?

— Радищев проявил себя на службе с самой лучшей стороны, за что был отмечен орденом святого Владимира.

— Как же, помню…

— Должен сказать, что таможня без такого работника, как Радищев, весьма ослабла.

— Что ж ты мне прикажешь? Отпустить его на волю? — В ее глазах зажглись злые огоньки. — Но закон выше меня.

Воронцов молча склонил голову.

— А железы, что ж… Пусть снимут железы. — В ее голосе звучало раздражение, прикрытое равнодушием.

Кандалы сняли в Нижнем Новгороде. И он почувствовал себя не преступником, а вольным путешественником. Ясным осенним днем по хрустящей, прихваченной морозцем траве он поднялся на высокий берег Оки. За рекой уходили вдаль леса — темные, бескрайние. Впервые после многих месяцев к нему пришло чувство освобождения. В расселинах горы он заметил следы морских отложений и почти побежал по склону, цепляя землю палкой: так и есть — ракушки, здесь было море. Это открытие удивило, обрадовало и как-то успокоило его: муки и ухищрения человека ничто по сравнению с гигантскими переменами в природе.

Вечером он написал об этом графу Воронцову, попросил его прислать термометр и ртутный барометр, чтобы делать метеорологические наблюдения и измерять высоту местности.

Чувство горечи — что с детьми? — убавляло энергию и радость от простых открытий. И он как о философском выводе написал Воронцову, что, увы, разум идет вслед чувствованиям. Все умствования, вся философия исчезают, когда он думает о детях…

При въезде в Казань он услышал колокольный звон. "Будто меня встречают", — счастливо подумал Радищев и откинул полог повозки. Он увидел отца, почти бегом приближающегося к нему. Они обнялись.

Николай Афанасьевич с недоумением оглядывал Александра.

— Не думал не гадал, что сын мой каторжником станет. Но ты глаза не опускай, смотри прямо. Знаю, христианский закон соблюдал, оттого и страдаешь. А страдание человека возвышает…

Он буравил Александра черными пронзительными глазами и

говорил тоном проповедника:

— Спастись можно только через страдания. А потому не прячься от них, иди навстречу смело. Пусть монархи трепещут, бог не простит высочайшей особе худых дел.

Потом за чаем в теплой комнате казармы он спрашивал о том, что делать с внуками.

— Василий и Николай поедут в Архангельск к брату Моисею, — отвечал Александр Николаевич. — А младшие, Катя и Павел, может быть, со мной будут. Елизавета Васильевна хочет их привезти в Сибирь. Она, как мать, заботится о них.

— Как мать? — насторожился Николай Афанасьевич.

— Как сестра моя… — тише отозвался Радищев.

— Не юли! — прикрикнул Николай Афанасьевич. — Говори, кто она тебе?

— Уж коли на правду, то жена, — еще тише сказал сын.

— Ты что, татарин? Как же ты на свояченице женился? И в церкви не венчаны?

— В церкви не венчаны, но перед богом она мне жена.

— Прадед мой татарин был, а я русский. И ты русский! Женился бы ты на крестьянской девке, я бы слова не сказал. Как же ты христианский закон нарушил! Эх, басурман…

Николай Афанасьевич убежал, хлопнув дверью.

Наутро Радищев стал собираться в путь. Он знал характер отца и был уверен, что тот больше не придет.

Но Николай Афанасьевич пришел, когда ямщик уже готовился огреть плетью лошадей.

— Вот, возьми! — Он сунул пачку денег в карман сыну и неловко обнял его. — Обещай мне, что соблюдешь христианский закон.

Радищев помрачнел.

— Любовь, батюшка, тоже христианский закон. Обещать не могу, потому что Лиза мне жизнь спасла.

Николай Афанасьевич беспомощно стоял перед сыном.

— Детей твоих не признаю. Будут побродяги.

— Ваше дело, батюшка. Прощайте!

— Стой! Может, больше не свидимся. Басурман ты окаянный!

Он заплакал, прижал Александра к себе, оттолкнул и ушел не оборачиваясь.

По подмерзшей дороге ехали бойко. Лошадей меняли на станциях быстро, только после Казани, в селе Бирюли, задержали: был престольный праздник, народ пьянствовал, и смотрителя не могли доискаться.

На станциях во время отдыха он садился за письма

Воронцову. Сообщал, что всюду, при проезде через разные губернии, его встречает местное начальство с великим соболезнованием и человеколюбием, чем он премного обязан Александру Романовичу, потому что всякий губернатор предупрежден Воронцовым о движении "несчастного", и если бы не эти благодеяния, то он, Радищев, может быть, совершенно лишился бы рассудка. Его сиятельство — редкий начальник…

В конце декабря Радищев прибыл в Тобольск. Остановка затянулась на несколько месяцев. Из Иркутска пришли купеческие обозы с пушниной. В одном на них лежала посылка от иркутского губернатора Ивана Алферьевича Пиля: Воронцов не доверял почте и с курьером, опережая ссыльного, отправил в Иркутск Пилю для Радищева семь пакетов с письмами и газетами, и теперь посылки шли навстречу с востока.

Перезимовали в Тобольске, а весна принесла великую радость: приехала Елизавета Васильевна с младшими детьми — Павлом и Катей. Будущее просветлело, и прошлая беда казалась не столь уж великой. Он ходил за Елизаветой Васильевной с покорностью и преданностью собаки, ласково притрагивался к рукам жены, не веря, что она рядом. Она смотрела на него глазами, полными голубого сияния и слез.

Однажды он начал робкий разговор:

— Я теперь счастлив, но иногда мне страшно. Не за себя. Ты не понимаешь, сколько еще тягот впереди. Может быть, вам лучше вернуться. Я сам вовлек себя в бедствие и, кажется, научился терпеть.

Она ответила просто:

— Я вернусь вместе с тобой.

Тобольский вице-губернатор Иван Осипович Селифонтов сообщил, что в Петербурге ходят слухи о скором прощении Радищева, и Елизавета Васильевна с торжеством говорила:

— Ну вот, вернемся к покрову, к яблокам.

Она любила яблоки и утверждала, что это единственное, чего не хватает в Тобольске. Радищев соглашался с нею легко, потому что перед ним лежали книги, присланные Воронцовым, а больше ничего и не нужно было…

Однажды он вскрыл письмо Воронцова и растерянно сказал Елизавете Васильевне:

— Александр Романович сердится, что мы живем так долго в Тобольске, и велит скорее ехать дальше.

Лицо Рубановской посерело, она ответила не сразу:

— Что ж, поедем дальше. Мы еще совсем не видели Сибири.

Они подавленно молчали. Из письма было неясно, что

случилось в Петербурге.

Вольтера сослали. Его бюсты упрятали в подвалы, чтобы бывший кумир императрицы не соблазнял российских подданных своей ироничной улыбкой. И десятки бронзовых Вольтеров горько улыбались в сырую подвальную темь.

Сочинения обожаемого писателя больше не подлежали распространению: французскому яду были поставлены препоны.

Но крамола угрожала не только с берегов Сены. Крамола пряталась в апартаментах дворца, глядела с надменного лица президента Коммерц-коллегии, угадывалась в донесениях его брата Семена Воронцова, посла в Англии. Она была всюду, стоило только поискать.

Платон Зубов спешил сообщить государыне о крамоле. Причина, вызвавшая его гнев, была значительной: Семен Воронцов препятствовал въезду в Англию графа д'Артуа, родственника бывшего короля Франции. Граф д'Артуа был награжден солидной суммой денег, перстнем с портретом ее величества, украшенным бриллиантом ценою в 30 тысяч рублей, золотой шпагой, в эфес которой тоже был вставлен крупный бриллиант. Эти знаки отличия должны были засвидетельствовать уважение, которое питает русский престол к законным правителям Франции. Однако Семен Воронцов утверждал в донесении, что д'Артуа не следует приезжать из Петербурга в Лондон, ибо здесь его полиция арестует за долги и посадит в тюрьму — и это происшествие неприличным образом отразится на англо-русских отношениях. Письмо Семена Воронцова фаворит считал личным выпадом против себя, против человека, который оказывал покровительство несчастному изгнаннику Франции.

Зубов слегка отстранил секретаря, попытавшегося сказать ему о том, что государыня сейчас занята, и отворил дверь. Екатерина мечтательно смотрела в окно.

— Ваше величество, дело столь важно, что я осмелился нарушить ваш покой.

Она повернулась к нему.

— Или я, или они. — Его тон был капризным и властным.

— Кто, мой друг?

— Ваш посол Семен Воронцов только и делает мне неприятности. Он оскорбляет графа д'Артуа, а значит, оскорбляет вас. Воронцов предан Англии больше, чем России.

— Но, мой друг, он вчера прислал письмо, где советует не уступать англичанам в их требованиях. Англичане хотят понудить нас отдать Крым и южные крепости туркам. Воронцов всегда дает немало дельных советов. Могу ли я его назвать изменником?

— А кто же они, эти братья? Один из них препятствует выписке из Англии литейных мастеров, потребных нашей армии, другой покровительствует сочинителю, охаявшему российские порядки. Теперь в Петербурге уже ходят слухи, что вы намерены освободить Радищева.

Она нахмурилась.

— Вздор.

— Но придворные болтуны утверждают, что князь Григорий Потемкин намерен просить вас о милосердии… Светлейший только тем и озабочен, чтобы мне сделать неприятность.

— Вздор, — повторила она. Холодные металлические нотки обрадовали фаворита. Снисхождение к просьбе Потемкина, его недоброжелателя, было бы ударом для Зубова.

— Я счастлив, что все это пустые измышления. Но должен сообщить вам, ваше величество, что преступник путешествует по Сибири как знатная особа. Губернаторы во всем угождают ему, Воронцов снабжает его деньгами…

— Бог с ним, он уже наказан, — равнодушно отозвалась Екатерина. — Но, — в ее хрипловатом старческом голосе снова зазвучал металл, — пусть он получит сполна все, что заслужил. Пусть десять лет проведет в суровом краю. Это охладит его.

На лице Зубова играла торжествующая улыбка.

Вскоре Петр Васильевич Завадовский, бывший фаворит, оставленный милостиво при дворе, сообщал своему другу Воронцову: "Государыня говорила с Безбородко. Будто на тебя и на княгиню Дашкову указывают как на побудителей сочинения Радищева. Она сочла это за ненависть и злословие. Александр Андреевич оправдывал, приводя всю истину, что ты о сем деле последний во всем городе узнал. Хотя происшествие сие и не поведет следствий, но по дружбе я не хотел ни о чем умолчать, что только до тебя касается… С отставкою ты всех подобных наветов избежишь и отклонишь от себя врагов…"

Александр Романович взялся писать прошение об отставке. Но, поразмыслив, изменил решение. Он написал императрице письмо, в котором просил отпустить его на год.

Он лелеял мысль, что его влияние на ход дел останется. А за год обстоятельства прояснятся.

Радищеву он сообщал о придворных маневрах и рекомендовал ускорить отъезд из Тобольска.

Александр Николаевич с разочарованием читал письмо Воронцова. Надежда снова исчезла.

Глубокой осенью 1791 года они достигли Иркутска и были ласково встречены губернатором Иваном Алферьевичем Пилем.

Ждала и вторая радость: книги и инструменты, присланные Воронцовым.

Вечером они с Елизаветой Васильевной были на приеме у генерал-губернатора. После тысячеверстной тяжкой грязной дороги — свет множества свечей, сверкающий паркет, мундиры, запах духов, улыбки иркутской знати.

Он был оглушен, ослеплен и не сразу заметил фальшь и холод многих улыбок. А заметив, с горечью понял: под попечением влиятельной особы он словно забыл о том, что он просто-напросто арестант. Теперь взгляды некоторых лиц, изумленные, ненавидящие, больно напомнили ему об этом.

Секретарь канцелярии иркутского наместничества Петр Сидорович Рытов был в ужасе. Что происходит? Приговоренный к смертной казни и помилованный, дерзкий преступник Радищев принят губернатором как знатный человек! Такого в Иркутске еще не бывало: каторжане валили лес, извлекали из недр руду, сидели за высоким забором острога, но никогда не нежились на губернаторских приемах. Петр Сидорович смотрел на почтенного Ивана Алферьевича и ничего не понимал: Пиль рыл себе могилу и сам сходил в нее.

Изумленный секретарь решил не дожидаться этого страшного момента. Он незаметно покинул залу и опрометью бросился в канцелярию. Там, дрожа от нетерпения, он сел за донос. Это было обширное послание в Петербург с изложением государственного указа о преступнике, с удивлением от того, что Радищева сопровождал из Тобольска всего лишь один унтер-офицер, и с негодованием на мягкость встречи и угождение преступнику. После доноса Петр Сидорович стал составлять распоряжение по иркутскому наместничеству. Из него следовало: упомянутого арестанта Александра Радищева надлежало отправить немедленно в Илимский острог на десятилетнее безысходное пребывание в оном, унтер-офицеру с двумя рядовыми солдатами быть при арестанте неотлучно, сверх приставной стражи иметь особое надзирание за ссыльным.

Петр Сидорович кончил писание бумаг к утру и побрел домой с сознанием исполненного долга.

Иван Алферьевич поблагодарил секретаря за столь ревностную подготовку распоряжения. Однако пожевал губами и сказал, что дорога в Илимск плоха, а здоровье семейства Радищевых вызывает опасение. Тогда Петр Сидорович упомянул о государственном указе, который должен быть выполнен, невзирая на состояние сибирских дорог и на здоровье преступника. Иван Алферьевич покивал головой и велел готовить отъезд, но предусмотреть все, не торопясь, с тщанием, чтобы не было

ошибки, ибо государственный указ нельзя исполнять кое-как.

Петр Сидорович почувствовал боль и тоску от таких слов, но делать было нечего, он взялся за исполнение указа с великой энергией.

Радищев вскоре сообщал Воронцову: "Правду говорили, будто здешние люди, во всяком случае некоторые из них, самый что ни на есть дурной народ, и это заставляет меня торопиться с отъездом… Меня уверили, что кто-то хочет донести Сенату, будто ко мне здесь относятся лучше, нежели я того заслуживаю".

…Звенели полозья саней в морозном остекленевшем воздухе. Мрачная тайга подступала к безлюдной дороге. Радищев со страхом оглядывался на закутанных детей: как они выдержат такой путь. Елизавета Васильевна ласково улыбалась ему одними глазами, подбородок и нос прятались в теплом платке.

За ними следовал возок с усиленной вооруженной охраной.

Дом к утру остывал. От рта поднимался пар. Радищев вставал рано и, наскоро одевшись, спешил к печи. Он всегда сам разжигал дрова. Малая утеха, но она приносила удовольствие: тепло возвращалось в дом от его рук.

Елизавета Васильевна сдерживала кашель, чтобы не пугать мужа нездоровьем. Он слышал это приглушенное, задавленное покашливание и приходил в отчаяние. Что делать? Его врачебные усилия были безрезультатны. Мороз обжигал слабые легкие Елизаветы Васильевны. Но она не слушалась его приказа не выходить из дома.

Как не выходить? А кто же тогда хозяйство будет вести? В постели лежать — к могиле бежать.

Она шла к исправнику просить дров, с казаками договаривалась о рыбе, заседателю Дееву несла деньги за сено. Александр Николаевич старался ее опередить в хозяйственных заботах, но она все мелочи в уме держала и была хитрее.

— Я уже сделала, иначе бы забыла, у меня скверная память, — с невинным видом говорила она, и торжество светилось в ее глазах.

Он воздевал в бессилии руки к небу.

Но утро было его торжеством: и печь растопить, и кофе сварить. Последнее он никому не доверял — ни слуге, ни жене, и по всему дому распространялся знойный запах кофе, напитка божественного, в котором теперь не угадывались пот и кровь далеких рабов.

К полудню из-за гор выходило солнце, серебром искрился морозный узор на маленьком оконце в кабинете, и настроение поднималось. "Вот видишь, я совсем не кашляю, — замечала

Елизавета Васильевна. — Жизнь есть движение".

Он много двигался. Он работал одержимо, с яростью, словно боясь на минуту остановиться и затосковать.

В Илимском остроге зимой все как будто застывало в неподвижности. В долине, окруженной лесистыми горами, солнце медленно перекатывалось в цепенеющем воздухе. Почти не было ветра, и дымы из труб выстраивались столбами. Собаки прятались от холода в укромных местах, люди предавались Бахусу: хлебного вина на купеческих складах хватало — по четверти ведра на человека, если считать население на пятьсот верст вокруг, включая женщин и детей.

45 домов, 250 душ обоего пола — весь Илимск. Высокий черный забор и несколько деревянных башен служили защитой от нападения туземных племен.

Но нападения не было. Нападали только болезни.

После завтрака Радищев принимал больных. Он прививал оспу, лечил обмороженных, при желудочных болезнях давал настои трав. Он не мог устраниться от врачевания: небесные светила не устраняются от начертанного пути.

После медицинских занятий он садился писать письма родным и Воронцову. Александр Романович интересовался всеми обстоятельствами жизни, а пуще всего экономическими. И Радищев сообщал ему о цене на хлеб, о пушнине, которая идет из Якутска вниз по Лене, о ценах на белку, о торговле с китайцами через Кяхту.

С письмами часто приходилось спешить, потому что ждали нарочные в Иркутск и надо было использовать эту возможность, не обращаясь к нескромной любознательной почте. Покончив с письмами, он шел к казакам потолковать. Заходила речь и о Светлой горе.

О Светлой горе в Илимске говорили с таинственными лицами. Из рассказов выходило, что недалеко от острога есть гора, которая сверкает под лучами солнца: так много в ее недрах серебра. Где же такая гора? Ответы были путанны, казаки скребли в затылках, переглядывались: а на что ссыльному барину знать? Александр Николаевич начинал пылко рисовать картины будущего, когда из недр извлекут сказочные богатства и дальний угрюмый край их расцветет. Казаки поддакивали, говорили, что дело, конечно, хорошее, надо добыть клад, но искать вместе не соглашались, оправдывались хозяйственными заботами. Удалось только узнать, что серебряная залежь находится где-то в верховьях Илима, верстах в пятидесяти.

Пришло лето, и Радищев решил отправиться на поиски

Светлой горы. Вместе с сыном, десятилетним Павлушей, они наняли лодку, на веслах которой сидели дна казака, и двинулись в путь.

На место прибыли глубокой ночью. Утром, после ночлега в деревне, Радищев уговорил старосту Федора Утина показать рудную залежь.

— Это можно, — сказал староста и настороженно ощупал глазами гостей. — Только деньги вперед: что зря сапоги бить.

Радищев с готовностью уплатил.

Они пробирались сквозь лесную чащу, Александр Николаевич горячо объяснял, что их деревне весьма повезло, серебряные рудники совсем изменят здешнюю жизнь. Староста отвечал односложно, но соглашался. Павлуша путался в высокой мокрой траве. Радищев в тревоге оглядывался, но мальчик весело улыбался, как будто дорога ему была нипочем.

— Ну, ваше благородие, теперь на верхотуру лезть придется, — сказал староста, глядя в сторону.

— Что ж, полезем.

Однако трудно будет. Может, вернуться лучше?

— Нет, коли решили — пойдем.

Склон был крут, как стена. Они цеплялись за каждую неровность. Мошка облепляла лицо и руки.

Наконец достигли вершины. Они стояли на небольшой поляне, к которой враждебно подступала лесная чаща.

— Вот, стало быть, тут, — угрюмо сказал староста. Земля чернела вокруг — не манила серебряным сверканием.

— А ты не ошибся? — спросил Радищев с недоумением.

— Может, маленько ошиблись, — вяло ответил проводник и начал ходить вокруг, делая вид, что ищет.

— Ты, кажется, мне голову морочишь?

— Никак нет, барин. Здесь должно быть… Однако нас в сторону чуть отнесло…

В глаза староста не глядел и разводил руками.

— Однако ты порядочная каналья. Ну, ладно, меня надул, мальчика бы пожалел, — в сердцах сказал Радищев и стал спускаться вниз.

— Напрасно ты, барин, бранишься. Сейчас не нашли, после найдем…

В Илимске долго потом толковали о радищевском предприятии. "Знатно Федор его поводил, — с удовольствием говорили жители. — Наш клад, а петербургским сюда нечего лезть!" "Хотел себе миллион составить, а нам шиш! Нас не обманешь!" Когда кто-нибудь в сомнении замечал, что серебро надо бы извлечь из земли и начеканить монет или в Кяхту слитки

отвезти, ему тут же возражали: "Хлеб у тебя есть, и рыба есть, и вино. Что же еще надо? Завод сделают — в кабалу пойдешь…"

Радищев сообщал Воронцову: "Местный житель любит лукавить и обманывает, сколько может, даже в случаях, когда правильно понятая выгода заставила бы его предпочесть честное отношение. Он отстраняет от себя и пытается уклониться от всякого новшества, от всякого соседства с людьми".

Светлая гора оставалась неоткрытой.

Год истек, отпуск у Воронцова кончился.

Платон Зубов то и дело отпускал нелестные слова в адрес президента Коммерц-коллегии. "Да он не знает дела!" — восклицал Зубов. "Он не знает отечества] — охотно поддерживал кое-кто из придворных. — Он отлично воспитан, обладает обширными сведениями, но не понимает русских людей!" — "Очень справедливо", — соглашалась императрица.

Платон был горд тем, что никогда не брал подарков от государыни. Он решительно отказывался от монаршей милости. Доход был другим — верным: взятки. Приток их возрастал с каждой его новой должностью, которых было так много, что Зубов, забывшись, иногда отдавал строгое распоряжение самому себе. Постепенно все государственные дела перешли к нему. С помощью взяток дела решались мгновенно, и императрица повторяла, что это величайший гений, которого в России когда-либо видели…

"Правительство безнравственно, а общественного мнения нет", — говорил Воронцов. Он подал прошение об отставке.

Государыня была оскорблена прошением и раздраженно указывала Завадовскому:

— Заготовьте приказ об отставке. Вижу, он вам дорог. Таланты имеет. Но мне не слуга: они, Воронцовы, всем родом не любят меня. Что ж, сердца принудить нельзя.

А вечером несдержанно, в гневе, крикнула:

— Разведены и развязаны навеки будем. Черт его побери!

Слух об отставке Воронцова птицей прилетел в Иркутск. За одной отставкой последовала другая: иркутского губернатора Пиля сменил Ларион Тимофеевич Нагель.

Петербургские и иркутские перемены эхом отозвались в Илимске…

Однажды вечером к Радищеву явился подвыпивший заседатель Деев. Он прошелся по всему дому, бесцеремонно разглядывая комнаты.

— Вон какие хоромы построил — восемь комнат. Знать, не

скудеет твоя кубышка.

— Прежний дом был тесен, — сдержанно отвечал Александр Николаевич. — А мне ведь еще долго жить здесь.

— Значит, людям уважение должен делать.

— Я делаю уважение. Не вашей ли племяннице оспу привил?

— Привил, не спорю. Но и серебро наше хотел себе привить! Ха-ха! Нехорошо…

— Это напраслина. Я хотел для вас же, для вашего благополучия.

— А коли так — для нашего благополучия, — починай кубышку! Делись с народом.

— Какую кубышку?

— Каждый месяц ящики тебе из Петербурга везут. Знать, не с опилками ящики-то?

— С книгами, Деев. Могу поделиться.

— Книги! На что мне! Одна морока. Монеты веселее. Мне много не надо. Вон у тебя плавильная печь стоит. Серебро небось слитками отливаешь.

— Иди, Деев, проспись, — тихо сказал Радищев. — И с глупостями больше не приходи.

— Ты мне не перечь! Ты вор, государев преступник, знай свое место, — закричал Деев. — Прикажу — так тебя в холодную запрут. Запомни!

Он ушел, оставив дверь на улицу незакрытой. Елизавета Васильевна сорвала с гвоздя шубу и, несмотря на просьбы Радищева остановиться, бросилась вслед за Деевым.

Она догнала его на безлюдной площади острога.

— Вы наглец! Не обижайте моего мужа! Я буду жаловаться самой государыне! Она знает меня!

При свете луны ее глаза горели грозно. Деев оробел.

— Вы, барыня, не тревожьтесь. Это я так, для разговору. Кто ж господина Радищева обижает? Нам велено следить за ним и не обижать.

Он стал пятиться от маленькой, яростно наступавшей на него женщины. Оторвавшись немного от преследовательницы, осмелел:

— А и то сказать, какая ты ему жена. В церкви не венчаны! И государыней меня не пугай, до нее далеко. Здесь я государь!

Деев уходил по холодной безлюдной площади, растворялся в пустом сумраке. Все живое попряталось в черных, с погашенными огнями, безглазых избах.

На следующий день Радищеву было указано не выходить за пределы острога. Он занялся химическими опытами. Приходили больные, рассказывали, что Деев оповестил весь Илимск, мол,

Радищев богач, спрятал сорок тысяч и не худо отнять у него добрую толику.

Лето прошло в бездействии. Удалось лишь несколько раз побывать в лесу, собрать трав — сие милостиво разрешили: горожане беспокоились о лечении. Но о дальних прогулках, о поисках Светлой горы думать было нечего.

Он много читал. В ящиках поверх книг, присланных Воронцовым, обычно лежали газеты. Он начинал с "Меркюра": французские события удручали. Робеспьер, поднявший секиру против врагов революции, теперь сам пал под ее ударом. С гнетущей последовательностью погибали тысячи людей. Лютее римского тирана Суллы оказался вождь якобинцев…

Из Петербурга шли дурные вести: заточены в крепость как заговорщики Новиков и Кречетов.

Елизавета Васильевна отправилась в Иркутск искать покровительства. Новый губернатор принял ее холодно, сказал, что пересылке писем родным через нарочных он не может способствовать.

— Ваше превосходительство, — говорила Рубановская, — граф Александр Романович Воронцов весьма беспокоится о здоровье Радищева, и полагаю, эта весть его опечалит.

Имя Воронцова произвело впечатление на Нагеля.

— Его сиятельству мы передали письма Радищева. Присланные графом суммы доставим по назначению.

— Радищева преследуют. Ему не дают возможности даже гулять по окрестностям Илимска. Мне придется сообщить об этом Воронцову.

— Прошу вас не сообщать его сиятельству. Я приму меры.

Она вернулась в Илимск и сказала Радищеву, что ограничения сняты: он волен выходить за пределы острога.

Похудевший, осунувшийся Александр Николаевич задумчиво отозвался шуткой:

— Таков закон природы: из мучительства рождается вольность, из вольности рабство.

Это были строки "Путешествия из Петербурга в Москву". Он давно уже не вспоминал о книге.

Освобождение пришло неожиданно. После кончины Екатерины II в Илимск с началом нового, 1797 года стали поступать новости одна другой чудней. Казак, прискакавший на взмыленной, дымящейся лошади из Иркутска, сказал, что набранных рекрутов отпустят домой и каждому дадут по золотому рублю. Всех каторжных выпустят, воров-губернаторов от должности отлучат и на каторгу пошлют. Ссыльный Радищев станет наместником в Иркутске, и тогда начнут копать серебряную гору.

Рубановская и Радищев смеялись, слыша эти нелепости,

верили им и не верили.

Постепенно шальные слухи угасли, и из писем близких пришло известие: новый царь Павел дарует гонимым свободу. Уже выпущен из Шлиссельбурга книгоиздатель Николай Иванович Новиков, изгнан Платон Зубов, посажены в темницы казнокрады и взяточники. Однако Кречетов, неистовый Кречетов, который так надеялся на воцарение Павла, все еще томится в крепости.

24 января Нагель объявил об указе Павла I: "Находящегося в Илимске на житье Александра Радищева оттуда освободить". Ссыльному предписывалось жить в своих деревнях. Начальнику губернии, где поименованный пребывать будет, вменялось в обязанность наблюдать за его поведением и перепискою.

Сборы в дорогу были лихорадочными. Александр Николаевич торопил жену: скорей отъезд! Елизавета Васильевна шуткой умеряла волнение мужа. Продали дом, раздали имущество.

Деев пришел с повинной.

Ваше благородие, не попомните зла!

— Бог с тобой! — Радищев пожал в знак примирения вымогателю руку. Деев на радостях выдавил слезу.

Выехали из Илимска 20 февраля 1797 года. Провожали все жители острога. Деев суетился, укутывал детей. Исправник притащил на дорогу бочонок вина. Бабы всхлипывали: "Подождали бы до весны. Куда ж ты в такой мороз!" Елизавета Васильевна удерживала кашель и прощально махала рукой.

Солнце играло по-весеннему. Радищев просил ямщиков ехать быстрее: неровен час — оттепель задержит.

Он снова взялся за путевой дневник. Вскоре там появилась запись: "Заночевали в селе Покровском. Простояли 11 марта по причине болезни Елизаветы Васильевны…"

Кашель у нее усиливался, и решили остановиться. Она успокаивала:

— Завтра поедем. Мне уже лучше.

Он доставал из аптечки травы, готовил настои, поил больную. Ночью начинался жар, и Радищев утром мрачно говорил:

— Ехать нельзя.

Она подзывала его к себе и просила положить руку на лоб:

— Видишь, нет уже жара.

Он воскресал, с радостью бежал к станционному смотрителю. Елизавета Васильевна поднималась, шла к саням.

Он с тревогой смотрел на дорогу, на которой подтаивал снежный наст, и оглядывался назад. Елизавета Васильевна кивала ему устало и покойно.

В Таре он решил остановиться надолго, чтобы вылечить больную.

— Нет, едем, — говорила Елизавета Васильевна, — надо успеть в Тобольск. Там хорошие лекари. Квартира приготовлена.

— Подождем, — сказал он потухшим голосом.

Они пробыли в Таре около двух недель. Болезнь не прекращалась. Елизавета Васильевна убеждала его ехать:

— В Тобольске мне будет лучше. Помнишь, мы же там встретились. Это счастливый город.

Тобольск казался обетованной землей, и они снова двинулись в путь. Дорога временами раскисала, сани шли плохо, лошадей переменяли медленно.

На одной станции смотритель начал кричать, что лошади плохи, он не может всем угодить. Радищев тоже хотел было закричать, но, перекрестясь, тихо сказал: "Когда ехали в ссылку, меньше было остановок, чем сейчас, когда велено вернуться по императорскому указу". Смотритель услышал слова "по императорскому указу", оробел, перестал кричать и побежал делать распоряжения.

Гнали всю ночь и в Тобольск приехали на рассвете первого апреля. Радищев был встречен губернатором, последовали приемы, обеды. Казалось, возвращаются жизнь и радость.

Но состояние больной вдруг резко ухудшилось. Седьмого апреля Елизавета Васильевна скончалась.

Со спокойствием обреченного он хоронил жену, которую до последних дней называл сестрой. Он стоял у могилы и думал о женщине, которая отдала ему себя без остатка. Странный закон его жизни: горе всегда настигает в счастливый миг судьбы, а с бедой обычно приходит радость.

Александр Романович Воронцов с утра нетерпеливо взбирался на башню, выстроенную над аркой въезда в усадьбу, и смотрел на дорогу. По расчетам, повозка с Радищевым должна была появиться еще два дня назад, но предположения не оправдывались. Он посылал своего секретаря Захара Николаевича Посникова во Владимир узнать, нет ли новых сведений о движении ссыльного, но Посников возвращался ни с чем.

В зале был накрыт стол на несколько персон: кушанья сменялись в течение дня, блюда должны были встретить путника свежими. Александр Романович, опечаленный, спускался с башни и шел смотреть хозяйство. Потом он поднялся в библиотеку, чтобы написать письмо губернатору о варварском способе, которым пользуются некоторые владимирские помещики, продавая крестьян в рекруты. Гнев помогал, Воронцов с головой

ушел в работу и не сразу услышал крики во дворе. Он бросился к окну: во внутренний двор усадьбы въезжал запыленный тарантас.

…Он вводил государственного преступника в свой дворец как царя. Слуги предупреждали каждое движение гостя, букеты цветов стояли во всех вазах, полы зеркально блестели, кушанья источали волшебные запахи, графины светились, переливались нежными красками.

Они сидели друг против друга за обеденным столом и молчали.

— Ваше сиятельство, — прерывающимся голосом сказал Радищев, — со смертью моей жены я потерял все.

— Ее имя останется святым.

— Александр Романович, только вы… только вы…

— Ну, полно, полно.

Столько раз Радищев в уме повторял первые слова, которые он обратит своему спасителю, но сейчас ничего не мог произнести.

— Все уже сказано, — продолжал Воронцов. — Мне интересно узнать, каков был путь после Урала.

Все было сказано в письмах, оставалось говорить глазами, жестами, тоном. И Радищев с некоторым внутренним облегчением стал просто рассказывать о недавней дороге и о волжском разбойнике Иване Фадееве, легенда о котором сопровождала их на всем пути по Каме и Волге.

Иван Фадеев гулял по Волге, казнил злых дворян, щадил добрых, а когда его пристанище окружили солдаты, он дал хозяину денег и велел поджечь дом, а затем распахнул ворота и на тройке поскакал прямо навстречу солдатам. Они растерялись, пропустили его. Лихой разбойник помчался, разбрасывая деньги, чтобы остановить погоню. Солдаты стали подбирать ассигнации и упустили Фадеева.

Воронцов слушал рассказ с неподдельным интересом. Он с радостью замечал, как в усталых потухших глазах Радищева снова загорается прежний огонь.

— Российский Робин Гуд. Легенда, которая порождена нашим несчастьем. Сегодня я написал владимирскому губернатору о том, что нужно прекратить тайную продажу крестьян в рекруты. Хочу подготовить о сем записку государю.

— Рад помочь вам в добром деле.

— Благодарю. Но сомневаюсь в нынешнем государе. Павел не терпит чужих мнений.

— Может быть, вам следует вернуться ко двору? Умный совет, поданный вовремя, умерит каприз самодержца.

— Сомнительно. У Павла нет той сильной черты, которая

была свойственна его матери. Екатерина не любила людей со своим мнением, но ценила их. При ней я мог сохранить самостоятельность. Впрочем, вероятно, я не прав… Я ведь всегда был того мнения, что люди имеют соответственную их достоинствам внутреннюю цену, которую не в состоянии отнять у них никакой деспот.

— А коли так, возвращайтесь! Поймал вас на слове! — горячо воскликнул Радищев.

Воронцов рассмеялся:

— Как Сенека, ценю теперь деревенский покой. Брат Семен уже отказался от лестного предложения царя быть преемником канцлера Безбородко. Он написал мне, что лучше привычная покойная работа в Англии, чем пребывание на российской волне, то возносящейся, то опадающей. Я почти потерял честолюбие. Оно теперь тешится моими деревенскими проектами. Я вам еще не показал моих парников…

После обеда они пошли смотреть парники, и Радищев с удовольствием стал рассказывать о своих сибирских земледельческих опытах и о теплицах, накрытых слюдой, где он пытался выращивать дыни. Тут Воронцов не преминул показать парники, где уже завязывались арбузы.

После прогулки Александр Николаевич остановился посреди внутреннего двора. Это был квадрат, замкнутый с трех сторон одноэтажными зданиями, а с четвертой — трехэтажным домом простой, сдержанной архитектуры, без признаков роскоши.

— Странно, этот двор мне напоминает Петропавловскую крепость, — задумчиво сказал Радищев.

— Это моя крепость, где я могу обороняться от любого тирана, — отозвался Воронцов.

Они прошли в библиотеку — неприступный редут от нападений деспотов, как выразился хозяин. В больших сундуках покоились рукописи и документы, свидетели былых коммерческих битв. Десятки золотых, серебряных, черепаховых табакерок украшали стол. Среди них не было табакерки с портретом Екатерины II — царскую награду сослали в пыльный чулан…

Радищев жадно разглядывал тяжелые шкафы с книгами:

— С такой армией ничего не страшно.

— Вот мой главный защитник — "Микромегас" Вольтера. — Воронцов держал на ладони тонкую книгу. — Я переводчик его. Иногда мне казалось, что я сам превращаюсь в юношу с планеты Сатурн, который смотрит на обитателей Земли, как на рой пылинок. А ссоры землян? Из-за чего? Может быть, столкновение происходит всего лишь из-за нескольких кучек грязи величиной

не более ногтя гиганта сатурнианца.

Слова упали мрачно, тяжело. Радищев встрепенулся:

— Но такой взгляд лишает человека силы!

Воронцов ответил не сразу:

— Человек должен чувствовать себя временами бессильным. Это спасает от многих бед.

— На гербе нашего рода изображена стрела, летящая к звезде. Может быть, этот образ с детских лет определил мои действия, а значит, и привел к многим бедам.

— На нашем гербе изображены лошади. И я стал лошадью, — усмехнулся Воронцов. — Но, — он глянул серьезно, — я всегда завидовал стрелам…

Он велел позвать художника из своих крепостных и заставил Радищева два часа позировать. Пока художник делал портрет, граф сошел вниз и самолично проверил, все ли готово к отъезду.

Они обнялись на прощанье, Воронцов сказал почти приказным тоном:

— Обещайте вести себя тихо. Надо повременить. Я дам знать, когда следует выпустить стрелу.

Он поднялся на башню и долго смотрел на дорогу, пока повозка не скрылась из виду.

До Москвы Радищева провожал секретарь Воронцова Захар Николаевич Посников.

СМЕРТЬ КАТОНА

С потолка в углу текло. Радищев отодвинул от мок-рой стены кроватку, в которой спал младший сын Афанасий, родившийся в Илимске, и тут же услышал за спиной веселый стук капели по глиняным горшкам, где хранились химические вещества для опытов. В сердцах огляделся, чтобы поискать сухого места, но вода сочилась во многих местах: крыша — решето.

Он прикрыл чем попало спящих детей и вышел на улицу. Сад и поле были затянуты серой сеткой дождя, но над лесом прояснело.

Он пересек дорогу, которая падала к ручью и поднималась за ним в гору, уходя к Малоярославцу. В крайнем у дороги доме остановился управляющий имением, которого прислал Николай Афанасьевич Радищев помочь сыну в хозяйственных делах.

Александр Николаевич постучал, и за дверью послышался хриплый заспанный голос, который произнес что-то неразборчивое: то ли "прошу пожаловать", то ли "проваливай".

Управляющий Морозов сидел в одной рубахе у стола и что-то искал в толстой книге, лежащей перед ним. Увидев барина, он нехотя поднялся и поклонился.

— Ты прости, братец, помешал тебе общаться с божественной книгой, — заговорил торопливо Радищев, — но у меня дети мокнут.

— Потоп! — вздохнул соболезнующе управляющий. — И льет, и льет!

— Оно ничего, что льет. Худо, что заливает.

— Анисим-плотник обещал крышу поправить. Обманул пьяница. Я ему сегодня всыплю. Вот дочитаю пророка Иеремию и всыплю.

— Ты читай, братец, читай. Там у Иеремии есть хорошие слова. Дай найду. Вот: "Множество пастухов испортили мой виноградник, истоптали ногами участок мой, любимый участок мой сделали пустой степью… Вся земля опустошена, потому что ни один человек не прилагает этого к сердцу".

— Изрядные слова, — одобрительно сказал управляющий. — Но ежели вы с намеком, Александр Николаевич, то неправда ваша. К сердцу мы прилагаем, и земля ваша не опустошена. Через год грести деньги лопатой будете.

— Ну, коли так, можно и потерпеть, — безразлично ответил Радищев.

Морозов уловил смиренные нотки, усталость в голосе хозяина и усмехнулся:

— Я, Александр Николаевич, и другую книжку читаю. Вот она. — Он потянулся к сундучку и достал "Путешествие из Петербурга в Москву". — "Жестокосердный помещик! Посмотри на детей крестьян, тебе подвластных. Они почти наги. Отчего? — он читал с удовольствием. — Не ты ли родших их в болезни и горести обложил сверх всех полевых работ оброком?"

Радищев смущенно смотрел на ехидного управляющего.

— Я не облагал оброком, Морозов.

— Да я так, к слову… — снисходительно сказал управляющий. — Я к тому, что в книгах многое можно вычитать…

Радищев помолчал. Трудно было отвечать ленивому плуту, который развалил хозяйство и теперь бьет незадачливого помещика его же словами.

— Крестьяне мои не были наги, Морозов, и, обещаю, не будут. Вот только крышу почини.

— Крышу починим, отчего не починить.

Он шел от управляющего с досадой на себя. Оправдывался, робел перед плутом, а ведь не сказал ему, что он лодырь, жулик: барский дом развален, растащен — одни руины, сад заброшен, а урожай его мошеннически продан на два года вперед, имение заложено и доход поступает почти весь в банк, мужики извольничались, разленились, не работают. Ну ничего, дай срок, он хозяйство наладит. Одно нехорошо: тесно в горнице и вода с крыши льет…

Он подошел к лачуге, где жил с детьми, и увидел работающих неподалеку плотников. Они ставили две избы, соединявшиеся небольшой галереей — замысел, который он позаимствовал у отца, связавшего в Преображенском галереей дом с церковью. Эти две избы встанут на бугре, над ручьем, и будут его барским домом. Отсюда дорога в Малоярославец далеко просматривается: из крепости должно быть хорошему обзору, чтобы незваные гости не застали врасплох. А еще лучше башню бы поставить, как у Воронцова.

Непрошеные гости беспокоили постоянно: то появится унтер-офицер из Малоярославца — походит вокруг усадьбы, иногда заведет незначащие речи и удалится лениво, то фискал с щучьим лицом на тракте топчется, мужиков расспрашивает… Любознательной почтой пользоваться было нельзя, письма Воронцову посылал с нарочными.

Веселый сочный перестук топоров успокаивал. Небо расчистило. Безмятежно журчала вода в каскаде прудов, ступенями сбегающем к ручью. Как Овидий Назон, тоскующий на морском берегу о родине, он брел по мокрому лугу и думал о том, что судьба его все-таки лучше судьбы римского ссыльного

поэта: неугодный цезарю Августу, Овидий так и остался лежать в чужой земле, а он закончит жизнь в своем гнезде.

В памяти всплывали строки Овидия:

Что вздумалось мне какого-то ждать облегченья —
Или была мне так непонятна судьба?..

Случались и праздники. Радищев знал, что во Франции есть сельский праздник "Роза Саланси", на котором увенчивают розами девушек, отличившихся высоконравственным поведением, и решил учредить такую награду у себя в деревне. Крестьяне встретили барскую блажь сначала с недоумением, потом со смехом, скрывающим смущение, стали яростно обсуждать, какая из девок ведет себя пристойнее. Споров и пересудов было так много, что пришлось отказаться от французского обычая.

Проще и понятнее был день, когда Радищев велел сварить пива, купить несколько ведер вина, напечь пирогов. Ясным осенним днем под открытым небом накрыли столы со снедью, под дребезг балалаек мужики пошли в пляс, бабы запели величальную:

Уж и чей-ат двор на горе стоит,
На горе стоит, на всей красоте?
Александрин двор, Николаевича.
Уж из горы три ручья текут,
Три ручья текут, три гремучие…

Радищев смотрел на баб, мягко притоптывающих по траве лаптями, на коричневые заскорузлые женские руки, слушал плеск воды в каскаде прудов, и сладко ему становилось и горько. Светлый час праздника был недолог, нужда сгибала натруженные спины крестьян. Многие уходили в город на заработки — земля кормила плохо. Александр Николаевич провожал их беспомощным взглядом, не останавливал, не упрекал, чувствуя свою вину, и только радовался, когда они возвращались домой и котомки их не были пусты.

Он занялся земледелием, исследованием почв. Он брал пробы земли, смешивая с различными солями, кислотами, кипятил смеси, процеживал, всматривался в осадок. Часто он забывал о

практической цели опытов, о том, с какого поля взята почва, по с увлечением следил за превращениями веществ. Радищев создавал различные химические комбинации и радовался, когда получал прозрачные кристаллы какой-либо соли или когда колба вдруг начинала вулканически содрогаться от бурной и часто неведомой реакции. Любимым его опытом было получение светоносного фосфора. Он звал детей и к их восторгу устраивал маленькую иллюминацию, сжигая на тарелке белый, дающий ослепительное пламя порошок.

Химические опыты иногда сменялись словесными. Писал он редко. "Эта мания у меня прошла", — однажды сообщил он Воронцову, но порой рука сама тянулась к бумаге. Он выбирал прихотливый сюжет о странствиях Бовы-королевича, тешился от скуки сказкой. Но из сказочной причуды вдруг вырастали колкие шипы, и он лукаво прятал их от тех, кто обнаружит подземный ход мыслей:

А все то, что чуть не гладко,
То скорее мы поставим в кладовую или погреб…

Литературные занятия возвращали чувство преследования и загнанности. Он отбрасывал перо и уходил в лес с лукошком, запрещая себе размышлять.

Однажды вечером он сидел с детьми у чайного стола. При случайном взгляде в окно увидел, как по дороге из Малоярославца к ручью спускалась повозка, в которой сидели двое военных. Радищев вскочил и вышел во двор. Он встал за густыми кустами сирени и следил за повозкой. Вот они проехали брод, остановились, и офицеры, похоже гусары, стали подниматься по склону холма к дому. Радищев замер в тоске: гости, к которым нельзя привыкнуть и за визитом которых приходит беда. Военные не говорили ни слова, и в этом чудилась угроза. Он готов был броситься к лесу, но усилием воли заставил себя выйти из укрытия и вернуться в дом. Дети смотрели встревоженно. Радищев молча наливал себе чай, руки подрагивали.

Послышались шаги. Гусары стояли на пороге. Радищев поднялся им навстречу обреченно.

Гусары кинулись к нему, крича, обнимая. Он задохнулся от неожиданности: это были два его старших сына, которых он не видел много лет, — Василий и Николай.

Он писал Павлу I: "Отца моего я видел незадолго перед отсылкою моею в Илимск, семь лет назад, мать мою не видел более двенадцати… Болезненное их состояние препятствует им приехать видеться со мною, хотя бы того желали. Позволь, всемилостивейший государь, мне ездить к ним на свидание…"

Павел разрешил, и наконец после двух лет жизни в Немцове Радищев отправился в Саратовскую губернию, в Кузнецкий уезд, в отцовское поместье Верхнее Аблязово — иначе Преображенское.

С дороги открылось большое село и у обрыва над рекой двуглавая церковь, соединенная галереей с барским домом. Будто большой корабль плыл над зеленым лугом…

Никто не вышел встречать, и он растерянно стоял с детьми перед отчим домом, не решаясь войти. В окне мелькнуло чье-то лицо, возникла суета, на крыльцо выбежали дворовые люди, которых он с трудом узнавал. Он не слышал криков радости, не замечал движений дворни вокруг себя. Он вступил в душную полутемную комнату, запахи которой говорили о долгой болезни и бедах. Белое лицо матери, лежащей на кровати, было влажно от слез. Он склонился над ней и заплакал навзрыд, освобожденно, почти в голос, как плакал когда-то в детстве, уткнувшись в теплое бедро матери. Он просил прощения у нее, потому что болезнь стала разрушать ее ровно с того дня, когда она услышала весть о заключении сына в Петропавловскую крепость.

Фекла Степановна гладила его по голове, говорила ободряющие слова. Она заметила детей, жмущихся на пороге, позвала их: "Подите сюда, голубчики мои…" Она знала, что это дети ее сына и Елизаветы Васильевны, и радовалась им, приняв их без ропота и сомнения.

Не так было с отцом.

Николай Афанасьевич вернулся с насеки только поздно вечером. Он пошел к Александру Николаевичу с простертыми вперед руками, глядя недвижно перед собой: он был слеп.

— Ну, вот ты и вернулся. — Он жестко схватил сына, притиснул и оттолкнул. — Надеюсь, ты избавился от своих умствований?

— Вполне.

— То-то! Смири гордыню и обретешь просветление. — Николай Афанасьевич опустился в кресло и продолжал поучение. Одет он был в простой крестьянский кафтан, подпоясанный ремнем. Длинная седая борода лежала на груди. — Ты напрасно думаешь, что мне худо, коли глаза мои света не видят. Стольких дурных людей не вижу, а пчел я и так понимаю, разговариваю с ними. Из Саровской пустыни я ушел: монахи охальники, блудодеи! С пчелами славно, чисто. Хочешь, завтра я отведу тебя

в лес, на пасеку?

— С матушкой надо побыть, соседей навестить.

— Каких соседей? Ваську Зубова, который отнял у своих крестьян все и кормит их только щами из общего корыта, как свиней? Его навестить?

Радищев вздрогнул:

— Может быть, и его. Все ж редкий экземпляр!

Николай Афанасьевич чутко уловил грозные ноты в голосе сына, за которыми обычно следовало умствование.

— Ехать к нему, а потом клеймить его? Нет, видно, ты от блажи не избавился. Лучше детьми займись. Привез?

— Привез. Маленьких — Анну, Феклу, Афанасия.

— Не знаю таких внуков. Василия знаю, Николая, Павла, Екатерину. А этих не знаю.

— Дети покойной Елизаветы Васильевны.

— Ее дети — не мои внуки.

— Они мои дети, батюшка.

— Басурманские дети! — взвизгнул старик.

— Коли так, я уеду, — тихо сказал Александр Николаевич.

— Я уеду — ты оставайся! — Николай Афанасьевич пошел к дверям, шаря в воздухе руками.

Через день Николай Афанасьевич вернулся, отправился сразу в церковь, пел на клиросе, долго молился. Потом пришел к сыну с кротким покойным видом:

— Вот тебе мое повеление: живи с нами, сколько царь разрешит. И дети пусть живут, у меня зла на них нет. Но помни, это Рубановские, а не Радищевы. Имени своего я им не даю!

"Я даю", — хотел сказать Александр Николаевич, но промолчал.

Он прожил в Преображенском почти год.

Отец проводил дни в уединении, в лесу, где возле пасеки построил часовню. Александр Николаевич присматривал за сельскими работами, делал визиты соседям, читал книги, писал письма Воронцову — время текло медленно, и он наслаждался этим медленным, врачующим течением.

Однажды отец пришел из леса и громогласно объявил, что он готов ко встрече с богом и потому намерен поделить имение. Семья Радищевых была большой, и Николаи Афанасьевич ходил по дому и вслух соображал, кому какой кусок выделить. В конце концов он запутался в наделах, рассердился и снова ушел в лес.

Перед отъездом сына он наставлял его:

— О службе не думай. Служба не твоя судьба. Там прохвост угождает прохвосту. Беги от царских чертогов. О людях заботься, люди тебе богом назначены. Радищевы всегда о людях пеклись.

Недаром, когда Емелька Пугачев сюда приходил, никто из крестьян не выдал нас вору. Лицо барским детям сажей мазали, прятали от Пугачева!

Александр Николаевич ждал, когда отец скажет о денежных делах, но Николай Афанасьевич невидяще смотрел поверх сына и вел речь о душе и боге.

Безденежье, нужда черной тучей надвигались на горизонт. Александр Николаевич молчал: после отлучения детей от фамилии просить отца о помощи он не мог.

Радищев возвращался в Немцово с чувством безнадежности. Он готовился закончить там свои дни. Но судьба распорядилась по-иному.

Смертью деспотичного Павла I начался новый век. Заключенные выходили из темниц, впавшие в немилость удостаивались высочайшей ласки, опальные становились всесильными. Общество мигом изменило свой внешний вид. Ненавистные однобортные кафтаны, которые велел носить Павел, были арестованы. Парики, косички, букли были выброшены, обрезаны, сосланы в сундуки и чуланы. Фраки, панталоны, круглые шляпы вновь победно замелькали повсюду. Широкие и длинные прусского образца солдатские мундиры спешно перешивались в узкие, отложные низкие воротнички делались стоячими — голову солдату было трудно повернуть. Тем не менее все восхищались новым обмундированием.

5 сентября 1801 года наследник престола въезжал в Москву на коронацию. В длинном царском поезде находились председатель Комиссии по составлению законов Петр Васильевич Завадовский и бывший преступник, а ныне зачисленный по рекомендации Александра Романовича Воронцова чиновником той же комиссии коллежский советник Александр Николаевич Радищев.

15 сентября государь короновался в Успенском соборе. Кроткий и задумчивый, будто стесняющийся величественного события, Александр I вышел на площадь перед собором. В толпе кричали: "Батюшка! Родимый! Красное солнышко!" Митрополит с крестом вел помазанника и обращался к народу: "Посмотрите, православные, каким бог наградил нас царем"…

Радищев, стиснутый с боков, двигался вместе с народом и испытывал столь же восторженное состояние. Казалось, наступил всеобщий долгий праздник и девятнадцатый век станет таким же светлым, каким было лицо нового царя.

— А, здравствуйте, господин демократ. — Граф Петр

Васильевич Завадовский радушно поднялся навстречу Радищеву. — Что новенького принесли?

Радищев положил перед председателем Комиссии по составлению законов толстую папку.

— Вот мои некоторые соображения.

— Похвально, похвально, — говорил Петр Васильевич, с неудовольствием листая бумаги. Почти каждый божий день раскаявшийся смутьян приносит ему различные проекты переустройства мира. Как будто и не раскаивался… Бледный, напрягшийся, как пружина, следит за его, Петра Васильевича, выражением лица, ждет оценок. Пятьдесят лет уже минуло смутьяну, но, как ребе-нок, прыток и мечтателей. Откуда что берется? Устройство законов требует обдуманности, неторопливости, а он хочет в два дня мир перевернуть. Если бы не ходатайство добрейшего друга Алексаши Воронцова, не стоило и в комиссию приглашать беспокойного сочинителя.

— Отменно. — Петр Васильевич со вздохом отложил бумаги. — Прошу пожаловать ко мне через две неделя для обмена мнениями.

— Отчего же через две недели? — с нетерпением спросил Радищев.

— Леге нецеситатис, по закону необходимости, мой друг, — наставительно, с удовольствием ответил Завадовский. Он любил латынь и не выносил суеты. Выражение его лица свидетельствовало о скорейшей необходимости закончить беседу.

Но Радищеву не терпелось продолжать.

— Петр Васильевич, вчерашнее в комиссии обсуждение о ценах за убиенных людей меня крайне встревожило. Спорить о цене за человека — ошибка.

— Эраре гуманум эст, ошибаться — человеческое свойство, — примирительно, с улыбкой заметил Завадовский.

Радищев, в свою очередь, уже не мог удержаться от латинской пословицы:

— Каждому человеку свойственно ошибаться, упорствовать в заблуждениях свойственно только глупцу.

Завадовский оскорбленно поднял брови:

— Члены комиссии и сенаторы — почтенные люди, а вы,

однако…

— Я никого не хотел обидеть, надобно было закончить мысль.

— Напрасные хлопоты. И я считаю, что нужно платить помещику за убитого человека согласно его ценности: за людей мужеека пола — пятьсот рублей, за женщин — половину этого.

— Отчего же половину?

— Оттого, что особа мужеска пола — работник сильнее, чем женщина.

— Как вы оцените мать нескольких детей?

— Экий вы придира. Назначать каждому лицу цену комиссия не собирается. Определим общее положение.

Однако за ремесленников, которые приносили своим господам прибыль, можно исчислять проценты.

— А какую цену и в какой процент нужно исчислить, если убит тот, кто рачил о своем господине с его детских лет? Какая цена той, которая вскормила своего господина и стала его второй матерью? — вскричал Радищев.

— Вы, батюшка, на рожон не лезьте, все вчера согласились в ценах, — с благодушным упреком сказал Петр Васильевич.

— Цена крови человеческой не может быть определена деньгами. Я подам особое мнение.

— Извольте.

После ухода Радищева Завадовский сел писать письмо милому Алексаше — Александру Романовичу Воронцову. Он жаловался на непочтительность и критический зуд демократа с несчастным прошлым. А ведь о Радищеве строгий друг Алексаша всегда был высокого мнения, мягко попенял Воронцову Петр Васильевич…

Время сводило вместе людей с несчастным прошлым.

Однажды к Радищеву пришел Степан Андреев. Он отбывал в Нерчинске каторгу до тех пор, пока случай не спас его. Был задержан человек, который признался в убийстве купца, в чем прежде обвиняли Андреева, и нерчинского мученика освободили.

— Александр Николаевич, — со слезами на глазах говорил Андреев. — Когда случилось несчастье, все отвернулись от меня. Только вы…

— Полно, брат, мои усилия были напрасны.

— Не напрасны, — горячо возражал Андреев. — Бог услышал вас…

Прибегал Вицман, похудевший, постаревший, но столь же неистовый, как прежде. Он взял детей Радищева в свой пансион и теперь громогласно рассуждал об их удивительных способностях и доброте. Он издавал новые необыкновенные книги и журналы,

наполненные советами, как сделаться богатым, как сохранить красоту и продлить жизнь.

— Чем больше человек повинуется природе и ее законам, тем дольше живет! — кричал он. — Твоя природа — нести мысль в века! Ты не должен изменить своей натуре!

— Август, ты преувеличиваешь по щедрости сердца. Но, признаюсь, слушать тебя — утешение. Я рад, что мои дети учатся в твоем пансионе.

Вицман был как дождь, воскрешающий иссохшую землю. Радищев с новой энергией брался писать проекты законов. Он составил "Проект гражданского уложения", записку о законоположении.

Он доказывал, что природа обусловливает человеческие законы: "Закон есть только подтверждение того, что человеку даровала природа. Из сего следует: если человек, вступая в общество, уступает ему часть своих прав, то оно обязано за то ему удовлетворением. Вследствие сего каждый человек, в обществе живущий, имеет право требовать от него защиты и покрова".

И он как писатель мог бы потребовать этого от Екатерины. Потребовать защиты и покрова от государыни, которая провозгласила: "Слова и сочинения не почитать никогда преступлением". Горечь подступила от воспоминаний. Но он подавил вспыхнувшее чувство и написал твердо: "К ее великой чести, она освятила непреложные общественные правила… — Он остановился в сомнении, и перо закончило само: —…от которых затем отступила". Но кто из смертных в течение всей жизни оставался одинаков?

Он по многу часов проводил за письменным столом, изучал законы, основанные Фридрихом II, вновь постигал книгу Монтескье "О духе законов", справлялся у Воронцовых об английском законодательстве, мечтал сесть на корабль и достичь берегов Англии, чтобы познакомиться с укладом жизни вольнолюбивых британцев.

За этими занятиями заставал его Василий Назарьевич Каразин, человек легкий и красноречивый. Он скользил глазами по бумагам Радищева и восторгался:

— Замечательно! История не простит нам, если этот труд останется в тайне.

История снова повелительно входила в этот дом, и Радищев загорался и читал Каразину написанное с такой живостью, как будто перед ним сидел сам царь. Все должны быть равны перед законом. Табель о рангах уничтожить. Ввести суд присяжных. Отменить пристрастные допросы. Ввести свободу книгопечатания. Освободить крепостных крестьян. Установить свободу торговли…

Каразин с важностью кивал головой. Он одобрял проекты. Он будет споспешествовать добру. У него есть связи при дворе, и он, чтобы ускорить дело, передаст одной высокой особе предложения Радищева. Записки находятся у Завадовского? Надежда на сего господина слаба: Завадовский пристрастен к вину, ленив и думает больше о карточной игре. Нет, лучше передать членам Негласного комитета — Новосильцеву, Кочубею, а еще лучше… — Каразин делал значительную паузу — самому царю. Александр Николаевич укладывал бумаги в папку и протягивал Каразину.

Гости уходили, и в минуты затишья Радищев садился за поэму "Осмнадцатое столетие".

Кровавым было оно:

Будешь проклято вовек, в век удивлением всех.
Крови — в твоей колыбели, припевание — громы сраженьев.
Ах, омоченно в крови ты ниспадаешь во гроб…

Но столетье "безумно и мудро" принесло не только разрушение: "…ты творец было мысли, они ж суть творения бога…" Что сулит людям грядущее?

"Иль невозвратен навек мир, дающий блаженство народам.
Или погрязнет еще, ах, человечество глубже?"
Нет, надежда не должна оставлять людей. Он верит в Россию:
Выше и выше лети ко солнцу, орел ты Российской,
Свет ты на землю снеси, молпьи смертельны оставь.
Мир, суд правды, истина, вольность лиются
от трона…

Гремящие строки ложились на бумагу. Им овладевало торжественное, радостное настроение, с каким он когда-то писал "Путешествие из Петербурга в Москву".

Петр Васильевич прикрыл глаза от блаженства, ощущая, как легкие прохладные пальцы парикмахера мечутся по его лицу, делая массаж. Кожа сдавливалась, растягивалась, загоралась от

трения, стыла в прохладной паузе, вздрагивала под ласковым натиском рук виртуоза. И чудилось Петру Васильевичу, что исчезают морщины, разглаживаются опухшие подглазья, упругими делаются увядшие губы — лицо становится таким, каким его любила покойная императрица: добродушно-веселым, мягким и мужественным, энергичным и добрым.

Он открывал глаза. Из зеркала смотрело опухшее, изрытое складками большое лицо с нездоровой белизной. "Отчего оно такое большое? — испуганно думал Завадовский и легко находил ответ: — Вино. Погубит оно тебя, брат, погубит…"

Он в тоске закрывал глаза, отдавался усилиям парикмахера, не надеясь уже на преображение.

…Может быть, поэтому государь его плохо принял? Александр долго смотрел на его опухшее лицо и со вздохом сказал:

— Теперь мне понятно, почему так медленно работает ваша комиссия. Вы слишком любите жизнь, Петр Васильевич!

Завадовский подождал, пока государь пояснит мысль, но тот не соизволил, и Петр Васильевич сокрушенно сказал:

— Кто же ее, ваше величество, не любит?

Александр сделал строгую мину, Завадовский тоже надел на лицо выражение озабоченности.

— Деятельность ваша может быть ускорена, — продолжал государь, — если вы используете опыт прошлых царствований. Материал разнородный, но вы ему придадите единство и цельный образ.

Завадовский одобрительно склонил голову: высочайшая мысль прекрасна. Потом подпустил в глаза чуточку сомнения:

— Другие времена, другие нравы. Ведь прежние законы — это обветшавшая храмина, из которой можно вынести только удобные вещи. Не лучше ли использовать опыт европейских соседей? Пруссии, к примеру…

Александр слегка поморщился: увлечение Пруссией напоминало о недавнем правлении отца — Павла I.

— Как будет угодно, ваше величество, — быстро произнес Завадовский. — Заверяю вас…

— Нет, почему же? Можно и Пруссии, — поспешно заговорил царь, видимо, боясь остаться в глазах Завадовского деспотом. — Перед вами весь мир, есть откуда черпать.

— Я поручу Радищеву изучить прусское земское уложение.

— Радищеву? Я слышал, это большой мечтатель. Он не замечает земли под ногами.

— Он добросовестен, ваше величество.

…Руки массажиста поглаживали нежно. Зеркало отвечало

взгляду: нет, сегодня не получался вид моложавого, энергичного деятеля. Так пусть останется лицо добрым, старчески умудренным.

Он позвонил. Вошел камердинер.

— Вот что, дружок, придет Радищев, окажи, меня нет дома.

— Слушаюсь, ваше сиятельство. Но он уже приехал.

— Как? А ты что?

— Я сказал, что ваше сиятельство изволит отдыхать. Он сказал, что подождет.

— Ах, каналья, что ты наделал! — Завадовский махнул рукой. — Зови. Нет, пусть подождет в кабинете.

Петр Васильевич входил в кабинет с лицом строгим и решительным.

— Александр Николаевич, могу вас уведомить, что государь проявляет большое внимание к работе комиссии. Я готовлю ему записку, которая включит и ваши предложения.

"Нельзя ли передать прямо в руки его величеству?" — хотел сказать Радищев, но увидел неприязнь на лице Завадовского и произнес с горечью:

— Как долго все тянется…

Петр Васильевич приблизился, стер с лица печать сдержанности и деловитости и прошипел:

— Быстро только перевороты, сударь, делаются. И людей в крепости быстро заточают.

Радищев метался. Он сделал визит Каразину, допытывался, какое движение получил "Проект гражданского уложения", переданный ему. Каразин отвечал, что проект находится у одного из членов Негласного комитета и читается с интересом. Радищев продолжал допрос, но благородного "маркиза Позу", как называли Каразина при дворе, красноречие уносило в поднебесные сферы. Радищев уставал от его самолюбования и мчался к Воронцову.

Александр Романович трудился от зари до зари над составлением различных записок и докладов. Он предлагал государю провести реформу Сената, который должен выйти из состояния бессилия и ничтожности и стать собранием людей, имеющих истинную власть и влияние. Он проводил свою любимую и насмешливую мысль о том, что сенаторы и члены государственного совета не могут быть "чучелами", а должны нести ответственность наравне с государем. Он предостерегал царя от усиления власти военных. Их необузданность и честолюбие много могут горя причинить. В Риме преторианская гвардия решала дела так: "Кто денег больше даст, тот и будет императором". Пусть российские люди усвоят горький опыт

истории…

Радищев снимал сюртук, расхаживал из угла в угол, бормотал фразы. Александр Романович писал под диктовку. Так они составили вместе "Рассуждение о непродаже людей без земли".

Потом Радищев читал свои бумаги, и Воронцов делал осторожные замечания. Иногда они спорили, но это не уменьшало энергии Радищева. Он с жаром говорил:

— Александр Романович, вы — надежда. Может быть, мы вместе сдвинем тяжелую российскую телегу?

Воронцов скептически усмехался:

— Государь считает меня человеком старых предрассудков, упрямым и тяжелым. А поэт Державин кричит, что я атаман молодой партии, которая намерена ослабить единодержавную власть государя. Наверно, он прав… Но может ли быть надеждой человек с такой репутацией?

— Есть один старый предрассудок, который остается молодым, — говорил Радищев. — Крестьянин закрепощен, он вещь, которую можно продать.

— Вряд ли кто-либо сейчас решится изгнать этот предрассудок, — уклончиво отвечал Воронцов, отворачиваясь от требовательного взгляда Радищева.

Александр Николаевич уходил с тяжелым сердцем: главная беда сохранится. Если в голосе Воронцова звучит скрытое упрямство помещика, то кто же тогда решится освободить крестьян?

Письма из Преображенского приходили редко, батюшка все никак не мог поделить имение. Тянулась тяжба с Козловым, соседом-помещиком, который должен был Радищевым 300 душ крестьян. Сенаторы при встрече напоминали Александру Николаевичу: "Ваше дело законное. Пусть ваш батюшка отдаст вам крестьян, которых ему должен Козлов. Тогда мы решим тяжбу в вашу пользу".

Но он не чувствовал в себе сил понуждать отца в передаче крестьян. Мучило противоречие: он воюет за их свободу, а должен строить свою жизнь на купле и продаже живых душ. Но как же иначе, таков порядок — пытался он иногда уговорить себя. Робкие доводы рассыпались: нельзя было проповедовать одно, а поступать по-другому. Он ни о чем не станет просить отца, не будет покупать души и судиться за них.

— Мне кажется, что хорошо было бы возобновить обычай древних персов, — говорил Радищев Завадовскому. — Они установили правило: каждый день приходит к шаху человек и напоминает, что он есть смертный. Не худо установить такой

обычай для всех российских начальников.

Завадовский оскорбленно прикрыл глаза:

— Шутить изволите, Александр Николаевич.

— Никоим образом. Сей обычай много бы ускорил движение дел. И еще осмелюсь предложить: стоило бы изменить порядок, введенный Петром Первым. Низший чиновник во всем угождает высшему, отчего разум последнего стесняется и в его сжатую голову вселяется великое самомнение. Если бы все члены канцелярий были равны и председательствовали по очереди, то мнения гораздо были бы свободнее.

Петр Васильевич крякнул и стал тереть щеки и лоб для успокоения. Но оно не приходило, и Завадовский сказал ядовито:

— Отменное предложение. Только кто будет высказывать эти свободные мнения?

— Общество.

Завадовский рассмеялся открыто:

— Вы, Александр Николаевич, будто малый ребенок. Кто в толпе найдется, способный выразить общее мнение?

— Если бы сыскался житель столицы или путешествователь, твердый духом, то он смог бы показать картину злоупотреблений.

— Кто? Путешествователь? — Завадовский разводил руками. — Ну, охота вам пустословить по-прежнему. Мало вам было Сибири?

Стало тихо в кабинете почтеннейшего Петра Васильевича: слышно было, как муха билась о стекло. Радищев встал.

— Вы правы, слова бессильны. Прощайте…

8 сентября 1802 года указом императора петровские коллегии, ведавшие государственными и хозяйственными делами, были упразднены. Вместо двенадцати коллегий было учреждено шесть министерств. Считалось, что управлять государством станет легче, если все сосредоточится в немногих руках.

Расширялись права Сената, о чем давно мечтал Воронцов, а сам он назначался государственным канцлером.

Александр Романович принимал поздравления. К вечеру поток визитеров иссяк, и Воронцов с облегчением ушел к себе. Но одна мысль не давала ему покоя. Он вызвал слугу:

— Я просил послать за Радищевым. Почему его нет?

— Александр Николаевич сейчас прибудут, ваше сиятельство.

Воронцов велел никого не принимать и тотчас доложить ему, когда придет Радищев.

Он взял в руки письмо от Завадовского. Петр Васильевич снова сетовал на Радищева… Обычаи, права, постановления —

все тому кажется недостаточным, нелепым и отяготительным. Ведет себя сей коллежский советник весьма досадительно и вызывающе. Всех глупцами считает и разум свой выше всех возносит…

— А, здравствуйте, господин демократ, — воскликнул Воронцов, когда Радищев вошел к нему, и почувствовал, как странно-натянуто прозвучало это привычное и дружески-фамильярное обращение. Радищев услышал в этом возгласе иронические интонации Завадовского, огорчился, но тут же поспешил с поздравлениями:

— Весьма рад, ваше сиятельство, вашему назначению на высокую должность. Долгожданный день.

— Благодарю. Праздником для себя этот день не считаю. Праздную тогда, когда подсчитываю итоги, а не в начале пути, — назидательно сказал он и нахмурился. — Садитесь, — но сам встал и принялся ходить по комнате. — Однако я пригласил вас не для восторгов. Не скрою, опечален вашим поведением. Оно слишком вызывающе. Добрейший Петр Васильевич удручен. Вы не согласны ни с кем. Неужели все ошибаются и только вы знаете истину?

Радищев побледнел.

— Как я могу, ваше сиятельство, быть столь самонадеянным? Я лишь старательный ученик у всего человечества. Я впитываю все, что создали титаны мысли, и это придает мне некоторую уверенность.

— Не будем увлекаться далекими светилами. Надо видеть и близкие звезды: государя и тех людей, которые его окружают.

— Однако дело движется неспешно.

— История не должна спешить. Всем известно, что из того происходит. Вспомните якобинцев.

Радищев молчал.

— Я надеюсь на вас, — сказал Воронцов мягче. — Я знаю вас как честного человека. Иногда заблуждающегося, но честного. Наступает новый век, понадобится много терпения и сил. В общих усилиях нет места сомнению и высокомерию. Россия — большое и трудное хозяйство. Теперь возникли условия для движения вперед. Упразднены коллегии, созданы министерства.

— И напрасно, — сказал Радищев. — В коллегиях были опытные, знающие люди. Они близко соприкасались с делами. Опасаюсь, что в министерствах чиновники будут дальше от дел, которые заменят бумагами.

— Повремените со своими страхами… И еще: обретает силу Сенат, а с ним и влияние людей, которые всегда сознавали свою ответственность пред Россией. В этот момент нужно ли

насмешничать и сомневаться?

Радищев молчал. Воронцов с беспокойством поглядел на него, подождал, но Радищев не отвечал.

— Не уподобляйтесь вольтеровскому Мемнону, который хотел быть мудрым и совершенным. У Мемнона это не получилось — не получится и у вас. — Воронцов заговорил еще мягче: — Взгляните на все со спокойным добродушием философа, как глядит житель Сатурна, для которого наши метания смешны.

Радищев поднял голову.

— Я не сатурнианец. Я живу на земле.

Воронцов положил ему руку на плечо:

— Но надо чувствовать землю. Прошу вас…

— Да, хорошо, ваше сиятельство, — подавленно ответил Радищев.

— Вот и славно, а теперь прошу поужинать со мной.

— Нет, благодарю вас, Александр Романович, мне нужно остаться одному.

— Как знаете. Однако ласкаюсь надеждой, вы не затаите обиду на вашего скрипучего наставника?

— Нет, нет.

Воронцов из окна видел, как Радищев выходил из подъезда. Вид устало опущенных плеч, понурой фигуры его больно кольнул. Он хотел позвать слугу, чтобы вернули Радищева, но рассудительно остановился: боль неизбежна, по она пройдет. Все проходит, утверждал царь Соломон…

…Радищев смотрел на другой берег Невы, на Петропавловскую крепость. "Мерзкая книга!" — кричал Шешковский… Визжали сани в остекленевшем илимском воздухе… Кашляла Елизавета Васильевна… "Мало вам было Сибири…" Неужели снова муки? Снова покаяния, унижения?.. "История не должна спешить…" "Надо быть послушным, господин демократ!"

Он быстро пошел вдоль берега. Нева несла угрюмые осенние воды. Чайки метались над одинокой лодкой посреди реки.

Он вернулся домой. "Зови лекаря", — устало сказал он Павлу. Раскрыл книгу. Это была трагедия Аддисона "Смерть Катона". Он пробежал несколько строк и отложил книгу. Что за наваждение его преследует: Катон, бросающий вызов жестокому Цезарю? Если нет иного выхода…

Пришел врач. Он велел пить успокоительные лекарства. "И ничего не пишите", — прибавил он строго. "Доктор, что же я тогда буду делать? Это мое единственное спасение". — "Нет, нет, полный покой…"

— Полный покой, — бормотал он, бродя по комнатам. — Полный, полный… А что, детушки, — сказал он вдруг младшим детям, играющим в гостиной, — если меня опять сошлют в Сибирь?

— Будет, батюшка, — с неудовольствием отвечал Павел. Он был уже морским офицером и чистил эполеты "царской водкой" — смесью азотной и соляной кислот. — К чему себя мучить?

— Да, к чему длить мучения? К чему? — сказал Радищев

куда-то в пространство и ушел в кабинет.

"Охота пустословить по-прежнему…" Каразин пустословит, обещает золотые горы, но, видно, рукопись проекта уложения потерял. Завадовский ничего не обещает и сердится от настойчивости подчиненного. Воронцов требует смирения.

Новый царь показался кротким. Но ненадолго. Короткой была радость Кречетова, освобожденного Александром из Шлиссельбурга. Федор Васильевич снова принялся за старое — писать письма монарху о народном просвещении, и царская милость сменилась гневом: "Основатель всенародно-вольно к благодействованию составляемого общества" отправлен в ссылку.

Память подсказывала строки его "Исторической песни":

Вождь падет, лицо сменится,
Но ярем, ярем пребудет.
И, как будто бы в насмешку
Роду смертных, тиран новой
Будет благ и будет кроток:
Но надолго ль, — на мгновенье,
А потом он, усугубя
Ярость лютости и злобы,
Он изрыгнет ад всем в души.

Стол был завален рукописями, книгами. Кому это теперь нужно? Он предлагал издать прежнее сочинение, но все, кому он говорил об этом, глядели на него с жалостью: "Житие Федора Васильевича Ушакова", некоторые стихи — куда ни шло, но "Путешествие" — это слишком!

Радищев то и дело подходил к окну, вглядывался в улицу, и ему казалось, что мерзкие рожи фискалов снова маячат у подъезда дома… Нет выхода… Он вспоминал Федора Васильевича Ушакова, который просил врача ускорить его конец.

Он рванулся в комнату, где стоял стакан ядовитой смеси, оставленный Павлом, и выпил…

Последние часы были мучительны. Лейб-медик Виллие склонялся над ним, пытаясь разобрать слова. Он шептал имена: Анна, Лиза… Виллие спросил его о завещании, но Радищев равнодушно покачал головой…

Виллие поднял книгу, лежавшую у кровати. Прочитал раскрытую страницу:

С течением времен все звезды помрачатся,
померкнет солнца блеск; природа, обветшав
лет дряхлостью, падет.
Но ты во юности бессмертной процветешь,
незыблемой среди сражения стихиев,
развалин вещества, миров всех разрушенья.

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ

Итак, Радищева не стало!
Мой друг, уже во гробе он!
То сердце, что добром дышало,
Постиг ничтожества закон…
……..
Сей друг людей, сей друг природы,
Кто к счастью вел путем свободы,
Навек, навек оставил нас! —

так отозвался на смерть первого русского революционера И. П. Пнин, один из молодых друзей Радищева, которых впоследствии историки назвали поэтами-радищевцами.

Затем наступил долгий период издательского запрета. Книга "Путешествие из Петербурга в Москву" продолжала жить лишь в многочисленных рукописных списках.

В тридцатых годах прошлого века А. С. Пушкин делает попытку снять цензурный запрет с имени, но его статья "Александр Радищев" по повелению министра просвещения Уварова осталась неопубликованной.

Только в 1858 году — прорыв. А. И. Герцен в вольной русской печати в Лондоне выпускает книгу, которая объединяет два произведения — "О повреждении нравов в России" М. Щербатова и "Путешествие из Петербурга в Москву" А. Радищева.

Общественный подъем шестидесятых годов пробуждает интерес к деятельности предшественников. Н. Добролюбов, Е. Якушкин и некоторые другие литераторы пытаются напомнить людям о судьбе замечательного человека XVIII века. Павел Радищев, сын, разделивший с отцом сибирскую ссылку, публикует его жизнеописание. Павел Александрович хлопочет об издании "Путешествия", но цензура неумолима.

1872 год. П. Ефремову удается опубликовать полный текст книги. Но на издание тут же был наложен арест по той причине, что "автор весьма часто находит случай сказать что-нибудь в укоризну и даже глухую угрозу самодержавной монархии". Были еще попытки, и все они из-за препятствий цензуры кончались неудачей.

Новый общественный подъем наконец решил судьбу многострадальной книги. В 1905 году появилось первое полное научное издание "Путешествия". 115 лет понадобилось для того,

чтобы мысль писателя пробилась к народу!

Радищев всегда жил с сознанием непрерывности человеческой мысли. Он остро ощущал исторический процесс как единый. Он предупреждал потомков о капризной прихотливости "закона природы", по которому "из мучительства рождается вольность, из вольности рабство". Закон, который требует от человека великой ответственности в переломные моменты истории.

Он не мерил свою жизнь коротким отрезком между рождением и смертью. Он был уверен, что судьбы людей незримо связаны со всеми далекими и, казалось бы, несвязными событиями истории и каждому нужно найти только свою достойную дорогу в многовековом путешествии человечества. И это сознание дало ему право написать о себе гордые строки: "… вольность первый прорицал".

notes

Примечания

1

Должность воспитателя, наставника в пажеском корпусе.

2

Гиметт — горный хребет неподалеку от Афин, на склонах которого росли ароматические травы, придающие меду, собранному здесь пчелами, особый вкус.

З

До каких, пор, Катилина, ты будешь испытывать наше терпение? (*лат.*).

4

Имеется в виду книга "Сентиментальное путешествие" английского писателя Л. Стерна.